

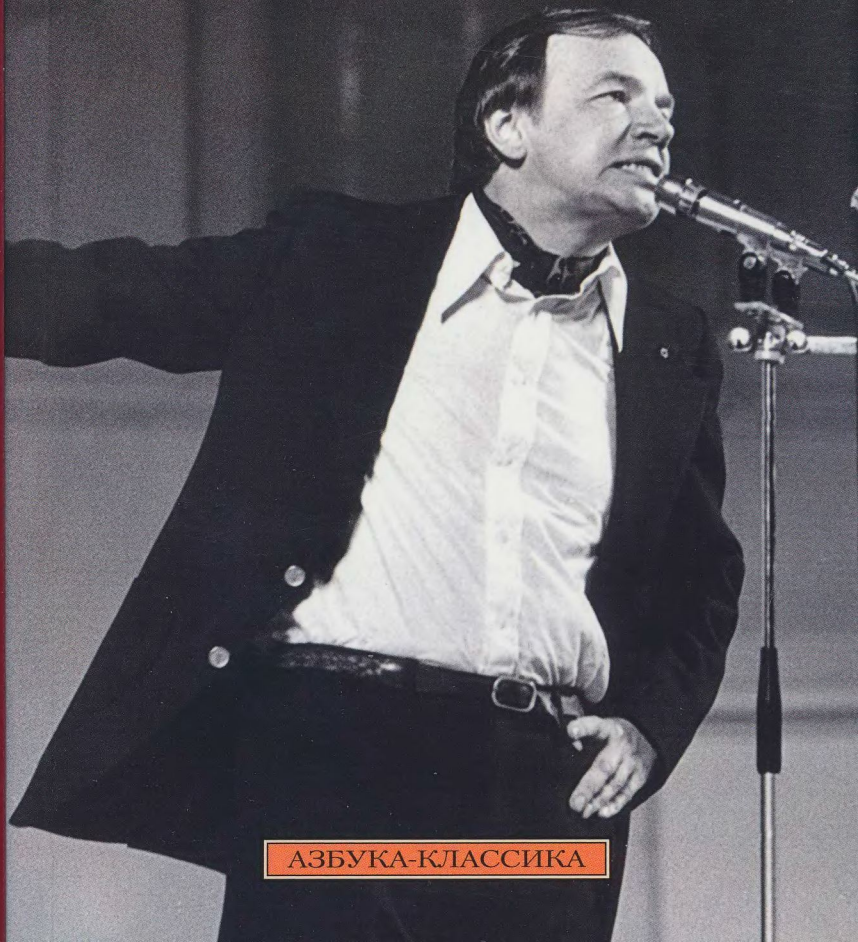


АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

*«Ты меня никогда
не забудешь...»*

«Ты меня никогда не забудешь...»

ВОЗНЕСЕНСКИЙ



Андрей Андреевич
ВОЗНЕСЕНСКИЙ
1933 – 2010

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

*«Ты меня никогда
не забудешь...»*



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
В 64

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

© А. Вознесенский (наследники), 2016
© З. Богуславская, предисловие, 2016
© Т. Фролова, состав, 2013
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2013
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-06777-6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.

Душа — слепая соучастница.

Не написал — случилось так.

Андрей Вознесенский

...Когда он лежал посреди переделкинского поля, искусанный дикими собаками; когда стоял на трибуне в Кремле под улюлюканье зала и крик разгневанного Хрущева; когда сидел после аварии в сплюсненном такси с разможенной головой — судьба как будто уводила его от смертельной болезни.

Но, увы, каждая из этих катастроф оставляла метины, приближая кончину. Андрея Вознесенского не стало 1 июня 2010 года. Он ушел на даче в Переделкино, произнося строчки заповедного стихотворения. «Не отчаивайся, — сказал мне. — Все обойдется, ведь я — Гойя!» У него была мистическая уверенность, что, если я рядом, ничего плохого не случится. Я сниму боль, найду лекарство, и все обойдется. Но не обошлось. «Мы уплывали вместе, обняв мой крест...» — напроорочил он незадолго до кончины.

Вхождение Андрея Вознесенского в поэзию было фантастически ярким и быстрым. Ни ученичества, ни подражания. Уже в четырнадцать ему позвонил *сам* Б. Л. Пастернак, прочитав школьную тетрадь, присланную незнакомым подростком, и пригласил к себе на дачу. Об этой встрече Вознесенский скажет: «Моя жизнь разделилась надвое». Он удостоился чести бывать на Пастернаковских чтениях вместе с кумирами столетия С. Рихтером, Г. Нейгаузом, И. Андрониковым, Д. Журавлевым, Б. Ливановым, а однажды унес домой подаренную ему рукопись «Доктора Живаго»...

Уже тяжело больной Борис Леонидович напишет поэту: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро».

В день похорон Пастернака Андрей будет сидеть на крыльце его дачи, содрогаясь от рыданий, не в силах следовать за гробом, который несли мимо него на переделкинское кладбище.

Все более непредсказуемым становится время, но слава Вознесенского растет. На его вечера ломится молодежь, его стихи заучивают наизусть, его публикуют по всему миру в переводах лучших мастеров: Одена, Арагона, Неруды и других...

Персональный вечер поэта в московских «Лужниках» обозначит новое явление российской культуры — исполнение стихов в многотысячных аудиториях.

«Разве эти стихи не напечатаны?» — спросит меня американец Артур Миллер, сидя со мной на стадионе. «Напечатаны? — изумится он, услышав ответ. — Зачем же эти люди тащатся сюда, если могут прочитать все дома, лежа на диване?»

Как объяснить иностранцу, что в России наступило время поэзии?.. Что стихи заменили религию, торжественные оды, словами стихов объясняются в любви и новый сленг входит в современные словари на равных правах с классическим языком?..

И в то же время вокруг каждой публикации Вознесенского разгораются опасные скандалы. Критика негодует по поводу его метафор и рифм, обзывает еретиком, обвиняя в кощунстве, требуя изъять из поэм плохо зашифрованную ненормативную лексику. На улицах Риги появляется плакат некоего поэта А. Жарова, где на фоне мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница»

выметают словно мусор книгу А. Вознесенского «Треугольная груша».

«Что делать с Вознесенским?!» — воскликнет Николай Асеев в «Литературке».

Однако чем яростнее нападения на Вознесенского, тем сплоченнее отстаивают его эстетику сторонники и почитатели.

Валентин Катаев назовет стихи Вознесенского «депо метафор».

Белла Ахмадулина признается: «За ним я знаю недостаток злой: / кощунственно венчать „гараж“ с „геранью“». И потом: «Ремесло наши души свело, / засветилось звездой голубою. / Я любила значенье свое / лишь в связи и соседстве с тобою».

Теперь Вознесенского принимают в самых элитных слоях общества, он становится членом многих академий.

Эрнст Неизвестный, живущий в США, напишет: «Член десяти академий мира, Вознесенский на самом деле не академик. Он — маг! Поэт и художник — маги по своему назначению и предназначению. Они обладают изначальным знанием подлинных имен вещей и способны вызывать их из небытия к жизни, облекая в форму. Быть может, поэтому вчера, как сегодня, Андрей Вознесенский ворожит-завораживает, иронизируя, играя, перетекая через ритм от звука, намека и недомолвок к всепоглощающему смыслу в пространстве собственных слов и строф».

Казалось, судьба поэта сложилась навечно, его имя вписано с заглавной буквы в историю. Но, увы, чем выше взлетает художник, тем страшнее падение. Катастрофа разразилась 7 марта 1963 года, во время встречи Н. С. Хрущева с интеллигенцией в Кремле. Уже разгромивший авангардное искусство, расправившись с альманахом «Тарусские страницы», художниками студии Билютина и, громче других, с Э. Неизвестным, оказавшим вождю сопротивление, генсек обрушился на писателей. Поводом стало интервью А. Вознесенского и В. Аксенова в Польше — там они заявили, что стиль

«социалистического реализма» отнюдь не единственный и не лучший на карте советского искусства.

Оборвав выступление Вознесенского, генсек в бешенстве заорал:

— ...Сотрем всех на пути, кто стоит против Коммунистической партии, сотрем!.. Мы никогда не дадим врагам воли, никогда!..

...Мы предложили Пастернаку, чтобы он уехал, хотите, завтра получите паспорт, уезжайте к чертовой бабушке, поезжайте туда, к *своим*!

А. В. Я русский поэт. Зачем мне уезжать?

И тут Хрущев обозначил исторический водораздел между одной эпохой и другой:

— *Вы думали, что будет оттепель? Оттепель закончилась, начались заморозки.*

И добавил уже лично для Вознесенского:

— Если вы не перестанете думать, что родились гением...

А. В. Я так не думаю.

Н. С. Вы думаете! Вам вскружил голову талант, ну как же, родился принц, все леса шумят... Не хотите с нами в ногу идти, получайте паспорт и уходите... В тюрьму мы вас сажать не будем. Но если вам нравится Запад — граница открыта!

А. В. Дайте мне договорить...

Эту фразу Вознесенский внятно повторил несколько раз. Впоследствии одна из книг о нем будет названа «Дайте мне договорить».

После крика Хрущева Вознесенский был вызван на общее собрание писателей с повесткой об исключении из рядов Союза. В то время это означало запрет на публикации, записи на телевидении и радио. Но Андрей не мог быть «молчащим» поэтом. Потребность, почти наркотическая, быть услышанным, оттачивать стихи на аудитории была одной из важных составляющих его таланта.

...Мы сидим рядом на этом собрании. Накал общительности выступающих набирает силу. Председатель вызывает Андрея на сцену, ожидая раскаяния за идеологические ошибки. Ситуация становится взрывоопас-

ной. Андрей отказывается говорить, он пишет записку в президиум: сейчас, мол, он не может осознать случившегося, ему нужно время, чтобы обдумать все. И вдруг что-то сдвигается в атмосфере, председатель медлит, он не объявляет голосование за исключение поэта... Минута, другая... Пронесло!

...Жизнь постепенно восстанавливалась. Параллельно запретам началась наша совместная история, она стала явной во время спектакля Ю. Любимова «Антимиры» на Таганке, имевшего шумный успех, превратившегося в общественное явление на многие годы. На первых же гастролях с «Антимирами» в Петербурге худрук Таганки объявил о нашем романе, и те дни ежедневных спектаклей, гуляний до утра с В. Высоцким, В. Смеховым, А. Демидовой, В. Золотухиным, которым подражала вся молодежь, стали нашим, по существу, свадебным путешествием.

...Мы познакомились в Переделкине. Однажды ко мне в комнату ворвался Вознесенский: «У меня будет здесь вечер, я буду читать для вас». Он ежедневно заскакивал ко мне в Дом творчества с новыми строфами родившихся стихов, смешными безделушками. Как-то принес клетку с желто-зелеными попугаями-неразлучниками. Я — замужняя женщина, у которой замечательный сынишка и благополучная семейная жизнь, — конечно же, не воспринимала всерьез внимание поэта. У поэтов объекты увлечений меняются неуловимо быстро, их жизнь многоголоса и разнообразна.

А напоследок моего пребывания в Доме творчества Андрей заявил: «Я выступаю в Дубне, тебе будет интересно и полезно, можем поехать вместе». Он знал, что я начала писать повесть о молодых физиках Дубны и моей мечтой было увидеть главный синхрофазотрон страны. Тогдашнее так называемое «бюро пропаганды» радостно воспользовалось случаем и предложило мне сделать вступительное слово к авторскому вечеру поэта Вознесенского. Успех был феноменальный, оставшееся время мы проводили в компании новых друзей. Было

сумасшедше весело, но никаких романтических отношений не было и в помине.

А год спустя на концерте в Большом зале Консерватории, сидя рядом с Генрихом Нейгаузом, наблюдая поодаль Святослава Рихтера, я впервые услышала, как Вознесенский читает поэму «Оза». Меня охватывает ужас. Наглость публичного признания невыносима, мне хочется провалиться сквозь землю.

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —

стань нашей посредницей.

Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы.

Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!

Видишь — лежу — почернел как кикимора.

Все безысходно...

Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,

Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

...Мы прожили вместе сорок шесть лет. Господи, как много мы смеялись все эти годы! Розыгрыши, хулиганство, мечты, любовь — все совпало. Это было время великих дружб, когда компании сплачивались вокруг тех, кого обижали и били. Казалось, что воздух свободы разрушит все стереотипы, не станет принуждения, стилистической и идеологической цензуры, появится вольность думать, говорить, одеваться по-своему, любить рок-н-ролл и твист, возражать насилию чиновника...

Мы не воспринимали время как потерянное. Жизнь была наполнена до краев. По существу, мы не расставались.

...Андрея призвали в армию, он — на сборах, я мчусь в Мукачево (Западная Украина)... Через полчаса вся его комната в перьях, мы что-то сооружаем из подушек, они рвутся, мы хохочем, облепленные перьями, словно птицы...

Оттуда Андрей пошлет Евтушенко стишок: «Был я, Женя, рядовой, / стал я лейтенантик. / Был я вольноблядовой, / а теперь — женатик».

...В Болгарии ранним утром под окнами моей комнаты внезапно слышу крик: «Ну что ты спишь так долго! Соня! Нас ждут гости, скорее!» Чертыхаясь, проклиная всех гостей, я наскоро одеваюсь, выбегаю под его вопль: «Они же не могут ждать, как ты не понимаешь!» Вижу: за оградой запряженный ослик переминается с ноги на ногу. Повозка увешана бубенцами и немислимой красоты гирляндами цветов. Еще минута — и мы несемся, затаив дыхание...

Розыгрыши были ежедневные, невинные и не очень. Случился один почти трагический. В Крыму, под Ялтой, праздновался день рождения Виктора Некрасова. Накануне Андрей привез мне в подарок два транзистора (Уоки-Токи). Один он спрятал в другой комнате, а второй я держала в гостиной, среди присутствующих. Фишка заключалась в том, что, стоворившись с виновником торжества, Андрей предлагал послушать свое интервью из Америки, трансляция которого якобы была объявлена по «Вражескому голосу» через полчаса. Из другой комнаты Андрей транслировал свой памфлет на каждого из присутствующих, что воспринималось как абсолютная реальность. Бог мой, что тут началось! Чета Паустовских, крымский поэт Славич и все собравшиеся, абсолютно уверовав в реальность слов Андрея, рванули из комнаты. Появление «автора» было встречено гробовым молчанием... «Предатель! Подлец!» — самое мягкое, что обрушилось на него. И почему-то сразу началась драка. Некрасову разбили губу, и этот шрам сохранился у него на всю жизнь. Когда много лет спустя я встретила Виктора уже в парижском изгнании и увидела шрам на его губе, мы почти весело вспомнили тот розыгрыш.

...Последние пятнадцать лет Вознесенский был сильно болен. Физическая жизнь убывала, с каждым днем делая его все более беспомощным. Но поэзия, вопреки

всему, жила в нем до последнего мига. Безголосый («Теряю голос»), уже с утра окутанный болью («Боль»), он никогда не жаловался, никогда ни с кем не говорил о болезни, неудержимо рвался на люди, пытаясь что-нибудь новое прочесть из своего. И ему суждено было пережить еще один взлет его всенародного признания. Появилась его рок-опера «„Юнона“ и „Авось“» (в основе которой поэма «Авось!») на поразительную музыку Алексея Рыбникова, в постановке Марка Захарова, в театре Ленинского комсомола. С хореографией Владимира Васильева, с участием актеров Николая Караченцова, Лены Шаниной, Александра Абдулова и других. И поныне существующий спектакль собирает битком набитые залы, он прославился в Париже и Нью-Йорке (вывезенный Пьером Карденом, придавшим этому событию особую праздничность и элегантность), лег в основу нескольких фильмов.

Тысячи людей в это же время поют песни на стихи Вознесенского, признанные артисты стремятся исполнять их. Страна ликовала, слушая музыку Раймонда Паулса, а затем и Арно Бабаджаняна, Микаэла Таривердиева и других. И по сей день во многих уголках мира звучит «Миллион алых роз», открытый в «Лужниках» Аллой Пугачевой, взлетающей на качелях поверх голов зрителей... Мы слышали эту песню в нью-йоркском такси, в ресторанах Токио, в записи и вживую.

Мне хочется закончить этот краткий рассказ словами замечательного прозаика Александра Кабакова, предварившими один из последних сборников поэта: «Мне страшно писать о Вознесенском, я перечитываю, перечитываю его слова сейчас, пытаюсь понять, отчего в те странные годы возникало ощущение свободного полета, нарушения всех правил и границ... строчки Вознесенские были нашими небожителями, и его фамилия читалась как звание. Мы говорили его голосом... не будь Вознесенского, время ушло бы из меня бесследно, полностью вытесненное последовавшим шумом лет».

Стихотворения

ПАРАБОЛА

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал враг,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос
войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло
повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди
возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды —
как гвозди.

Я — Гойя.

1957

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой
краснозодою
взвивается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райклубы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено!

Все — начато!

Айда в кино!

1957

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
 так уж положено,
из стен,
 матерей
 и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,

наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,
гуд бай,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побывать бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
 как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неуютен?

ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасител!

1961

ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Судьба, как ракета, летит по параболе
обычно — во мраке и реже — по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,
богема, а в прошлом — торговый агент.
Чтоб в Лувр королевский попасть из Монмартра,
он дал кругалю через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,
кудахтанье жен и дерьмо академий.
Он преодолел тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:
«Прямая — короче, парабола — круче,
не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей
сквозь ветер, срывающий фалды и уши.
И в Лувр он попал не сквозь главный порог —
параболой гневно пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,
червяк — через щель, человек — по параболе.

Жила-была девочка, рядом в квартале.
Мы с нею учились, зачеты сдавали.

Куда ж я уехал! И черт меня нес
меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.
Простывшие плечики в черном парадном...
О, как ты звенела во мраке Вселенной
упруго и прямо — как прутик антенны!
А я все лечу, приземляясь по ним —
земным и озябшим твоим позывным.
Как трудно дается нам эта параболла!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,
несутся искусство, любовь и история —
по параболической траектории!

В Сибирь уезжает он нынешней ночью.
.....
А может быть, все же прямая — короче?

1958

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоза.
И волочили и лупили
Лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как уют.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрецины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала
стояли очи как вода
и не ему принадлежала
как просека или звезда

и звезды по небу стучали
как дождь о черное стекло
и скатываясь
остужали

ее горячее чело

1960

НА ПЛОТАХ

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной
и черной водой,

я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,
платье, жилье.

Я плевал

на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь

телеграмм и открыток твоих,

ненавижу, как нож

по ночам ненавидит живых,

ненавижу твой шелк,

проливные нейлоны гардин,

мне нужнее мешок,

чем холстина картин!

Атаманша-тихоня

телефон-автоматной Москвы,

я страшон,

как икона,

почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,
голубая щека рыбака,
«нет» — слезам.
«Да» — мужским, продубленным рукам.
«Да» — девчатам разбойным,
купающим МАЗ, как коня,
«да» — брандспойтам,
сбивающим горе с меня.

1958

ТАЙГОЙ

Твои зубы смелы
в них усмешка ножа

и гудят как шмели
золотые глаза!

мы бредем от избушки
нам трава до ушей
ты пророчишь мне взбучку
от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня
хоть в округе — скиты
бродят пчелы мохнатые
нагибая цветы

я не знаю — тайги
я не знаю — семьи
знаю только зрочки
знаю — зубы твои

на ромашках роса
как в буддийских пиалах
как она хороша
в длинных мочках фиалок

в каждой капельке-мочке
отражаясь мигая
ты дрожишь как Дюймовочка
только кверху ногами

ты — живая вода
на губах на листке
ты себя раздала
всю до капли — тайге.

1958

ВЕЧЕР НА СТРОЙКЕ

Меня пугают формализмом.

Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.

Искусство мертвенно без искры,
не столько Божьей, как людской, —
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.

Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,
они — небритые, как солнце,
и точно сосны — шелушась.

И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши — чисто и чумазо,
смахнувши — точно стрекозу,
в ладоши хлопала раскатисто...

Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.

1958

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В Том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,

им — колоситься, токовать.

Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?
К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974

* * *

Суздальская Богоматерь,
сияющая на белой стене,
как кинокассирша
в полукруглом овале окошечка!

Дай мне
билет,
куда не допускают
после шестнадцати...

Невмоготу понимать все.

1968

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальтецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.

1956

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют,
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенеv до немоты,

стоят как каменные бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1957

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ ФАКЕЛЫ

З. Богуславской

Ко мне является Флоренция,
фосфоресцируя домами,
и отмыкает, как дворецкий,
свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал
для бань, для стадиона в Кировске,
спит Баптистерий, как развитие
моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное,
вбегаю в факельные площади,
ты — калька с юности, Флоренция!
Брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,
как сквозь восковку,
восходят судьбы и фигуры
моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,
меж вьющихся интервьюеров,
как ангелы или лакеи,
стоят за креслами, глаза.

А факелы над черным Арно
необъяснимы —

как будто в огненных подфарниках
несутся в прошлое машины!

Ау! — зовут мои обеты.
Ау! — забытые мольберты,
и сигареты,
и спички сквозь ночные пальцы.
Ау! — сбегаются палаццо, —
авансы юности опасны! —
попался?!

И между ними мальчик странный,
еще не тронутый эстрадой,
с лицом, как белый лист тетрадный,
в разинутых подошвах с дратвой —
здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаешь!
Преуспевающий пай-мальчик.
Вас заграницы издают.
Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?
И по кому прощально факелы
над флорентийскими хоромами
летят свежо и похоронно?..»

Я занят. Я его прерву.
Осточертели интервью.

Сажусь в машину. Дверцы мокры.
Флоренция летит назад.
И как червонные семерки
палаццо в факелах горят.

1962

ТРЕУГОЛЬНАЯ ГРУША

ГИТАРА

Б. Окуджаве

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носилась по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1960

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...

чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.

Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1963

АНТИМИРЫ

* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются
в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы
природа в реке и во мне
и где-то еще — извне
три красные солнца горят
три рощи как стекла дрожат
три женщины брезжут в одной
как матрешки — одна в другой
одна меня любит смеется
другая в ней птицей бьется
а третья — та в уголок
забилась как уголек
она меня не простит
она еще отомстит
мне светит ее лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца! Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроне лица,
зять Букашкина с пацаном —

газанем!

«Газик», чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
 живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,
ослепленная и извечная,

им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.
Четыре черные дробинки, не долетев,
вонзились
в воздух.

Он взглянул на нас. И — или это нам показало-
лось — над горизонтальными мышцами
бегуна, над запекшимися шерстинками шеи
блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,
как на фресках Феофана.
Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.
Как бы слился с криком.

Он повис...
С искаженным и светлым ликом,
как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры,
наши лица неслись во мрак.

1963

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.

Я героиня
самоубийства и героина.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без роц осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо

невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.

Ее глядели автомобили.

На стометровом киноэкране
в библейском небе,

меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,

ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),

невыносимо

в магазине

«Приветик, вот вы» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,

что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селетки,
лицо измято,

глаза разорваны
(как страшно вспомнить во

«Франс-Обзёрвере»

свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:

«Вы просто дуся,

ваш лоб — как бисерный!»

А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны министры —
самоубийцы,

самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,

невыносимо все ждать, чтоб грянуло,

а главное —

необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

НЕВЫНОСИМО

горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад
разомкнемся немым изваяньем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!

Шарф мой — Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,

шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шоферов дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

АХИЛЛЕСОВО СЕРДЦЕ

* * *

Матери сиротеют.
Дети их покидают.

Ты
 мой ребенок,
 мама,
 брошенный
 мой
 ребенок.

1965

* * *

«Умирайте вовремя.
Помните регламент...»
Вороны,
 вороны
надо мной горланят.

Ходит как посмешище
трезвый несказанно
Есенин неповесившийся
с белыми глазами...

Обещаю вовремя
 выполнить завет
через тыщу
 лет!

1964

КИЖ-ОЗЕРО

Мы — Киж,
я — киж, а ты — кижиха.
Ни души.
И все наши пожитки —
ты, да я, да простенький плащишко,
да два прошлых,
чтобы распроститься!

Мы чужи
наветам и наушникам,
те Киж
решат твое замужество,
надоело прятаться и мучиться,
лживые обрыдли стеллажи,
люди мы — не электроужи,
от шпионов, от домашней лжи
нас с тобой упрятали Киж.

Спят Киж,
как совы на нашесте,
ворожбы,
пожарища,
нашествия.

Мы свежи —
как заросли и воды,

оккупированные

свободой!

Кыш, Кижид...

...а где-нибудь на Каме
два подобья наших с рюкзаками,
он, она —

и все их багажи,
убежали и — недосыгаемы.

Через всю Россию

ночниками
их костры — как микротятежи.

Раньше в скит бежали от грехов,
нынче удаляются в любовь.

*

Горожанка сходит с теплохода.

В сруб вошла.

Смыкаются над ней,
как репейник ровень небосводу,
купола мохнатые Кижей.

Чем томит тоска ее душевная?

Вы, Кижид,

непредотвратимое крушение
отведите от ее души.

Завтра эта женщина оставит
дом, семью и стены запалит.

Вы, Кижид,

кружитесь скорбной стаей.
Сердце ее тайное болит.

Женщиною быть — самосожженье,
самовозрождение из огня.

Сколько раз служила ты мишенью?!
Сколько еще будешь за меня?!

Есть Второе Сердце — как дыханье.
Перенапряжение души
порождает

новое познание...

Будьте акушерами,
Кизи.

1964

СНЕГ В ОКТЯБРЕ

Падает по железу
с небом напополам
снежное сожаление
по лесу и по нам.

В красные можжевельники —
снежное сожаление,
ветви отяжелелые
светлого сожаления!

Это сейчас растает
в наших речах с тобой,
только потом настанет
твердой, как наст, тоской.

И, оседая, шевелится,
будто снега из детства,
свежее сожаление
милых твоих одежд.

Спи, мое день-рождение,
яблоко закусав.
Как мы теперь отдельно
будем в красных лесах?!

Ах, как звенит вслед лету
брошенный твой снежок,
будто велосипедный
круглый литой звонок!

1967

ТЕНЬ ЗВУКА

* * *

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноеет — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —

мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — схохмим.
Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...
Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не сберег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.

Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

Обязанность стиха —
быть органом стыда.

1967

РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
Боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

А утром я свищу насильно,
но мой язык —
что слезы
слизывал
России,
чей светел лик.
1967

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при всегда.

Прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи всё свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока.
Залетные на час,
останьтесь навсегда...

1967

НЕ ОТРЕКУСЬ

УРОКИ ПОЛЬСКОГО

«Урода» — значит красота.
Как просто!..

Пускай осталась от костра
короста,
пускай ваш друг погас, обрюзг,
глаза как ставни,
но чем потрепанней бурдюк —
тем пить хрустальней!

А ты вульгарна как весна,
ресниц огарочки потухли,
вишневые, как ветчина,
на белом каучуке туфли.

Но сколько синей тишины
в тебе под вечер,
как нематериальны сны,
как подвенечны,

и так серебряны глаза
на фиолетовом —
как сохраняется, дрожа,
в футляре флейта!

А у старух лиловый взгляд
над огородами.
«У, дрянь, — старухи говорят, —
урода!»
1961

* * *

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!

И, оттаивая ладошки,
поэтессы бегут в лотошницы!

Ну, а ты?..
Уж который месяц —
в звезды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.

И опять и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,

* * *

Б.А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска,
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно — печь,
можно
 землю
 к чертям
 поджечь!

В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеется искоса.

1958

* * *

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.

Ходит он — синеокий,
гусельки на весу,
очи его — как окуни,
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество — это старт.

1957

* * *

В мире друзей, в мире транспорта долгого,
что ты там делаешь в мире, где дождь?
Делишься с кем мандаринными дольками?
Что за экзамены снова сдаешь?

Ой, вокалисточка, снова за шалости?
Или озябшая, бросив постель,
бродишь босая и взять не решаешься
трубку тяжелую, точно гантель...

1958

ИЗ ПОЭМЫ «ОЗА»

* * *

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое,
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дан тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не беспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза...

1964

* * *

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфельк пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфельк пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?..

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

1964

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю —

стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.

Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...

Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

1964

* * *

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твоё опустело.
Что-то в нём приостановилось
и с тех пор невосстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Только ты не переменилась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свиарня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет
очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее
нам пора... Вернемся к поэме.

1964

ВЗГЛЯД

ПЕСНЯ АКЫНА

Не славы и не коровы,
не шаткой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб вытянул петь со мной!

Прошу не любви ворованной,
не милостей на денек —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.

Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!

Чтоб кто-нибудь меня понял,
не часто, ну, хоть разок.
Из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.

И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоем,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.

Прости ему. Пусть до гроба
одиноким окружен.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и он.

1971

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленопреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,
а баба, русый журавель,
в отлете,

орет за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,

врачи произвели реанимацию.

Ввернули серые твои,
как в новоселье.
Сказали: «Толай. Чти ГАИ.
Пой веселее».

Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!

1971

* * *

Ты молилась ли на ночь, береза?
Вы молились ли на ночь,
запрокинутые озера
Сенеж, Свитязь и Нарочь?

Вы молились ли на ночь, соборы
Покрова и Успенья?
Покурю у забора.
Надо, чтобы успели.

У лугов изумлявших —
запах автомобилей...
Ты молилась, Земля наша?
Как тебя мы любили!

1972

ЖЕНЩИНА В АВГУСТЕ

Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роце законной,
все не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.

В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зеленая видна,
а в хмурый — медная заметнее.

1971

ВЫПУСТИ ПТИЦУ

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волшба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.
Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волшба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

1972

СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

1972

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

ДУБОВЫЙ ЛИСТ ВИОЛОНЧЕЛЬНЫЙ

* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.

Душа — слепая соучастница.

Не написал — случилось так.

1973

* * *

Приснись! Припомни, бога ради,
ту дрожь влюбленную в себе —
как проступает в Ленинграде
серебрянейший СПб.

1974

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.
В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски
 выдавленным
 голубым!

Сирий цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разные, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские на Поля?
Как заплетали венки вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы Господни
над катастрофою мировой —
в трубочку свернутые полотна
воют архангельскую трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрочки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

СОЛОВЕЙ-ЗИМОВЩИК

Свищет всенощною сонатой
между кухонь, бензина, щей
сантехнический озонатор,
переделкинский соловей!

Ах, пичуга микроскопический,
бьет, бичует, все гнет свое,
не лирически —
гигиенически,
чтоб вы выжили, дурачье.

Отключи зажиганье, собственник.
Стекла пыльные опусти.
Побледней от внезапной совести,
кислорода и красоты.

Что поет он? Как лошадь пасется,
и к земле из тела ея
августейшая шея льется —
тайной жизни земной струя.

Ну, а шея другой — лимонна,
мордой воткнутая в луга,
как плачевного граммофона
изгибающаяся труба.

Ты на зиму в края лазоревы
улетишь, да не тот овес.
Этим лугом сердце разорвано,
лишь на родине ты поешь.

Показав в радиольной лапке
музыкальные коготки,
на тебя от восторга слабнут
переделкинские коты.

Кто же тронул тебя берданкой?
Тебе Африки не видать.
Замотаешься в шарфик пернатый,
попытаешь перезимовать.

Ах, зимою застынут фарфором
шесть кистей рябины в снегу,
точно чашечки перевернутые,
темно-огненные внизу...

Как же выжил ты, мой зимовщик,
песни мерзнущий крепостной?
Вновь по стеклам хлестнул, как мойщик,
голос, тронутый хрипотцой!

Бездыханные перерывы
между приступами любви.
Невозможные переливы,
убиенные соловьи.

1971

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не умею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц на щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоящему —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколёт,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Когда слышу тирады подленькие
оступившегося товарища,
я ищу не подобья — подлинника,
по нему грущу, настоящему.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.

Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по-настоящему.

Все из пластика — даже рублища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
режиссер павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернется, может, роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины

обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

1975

НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.
Человек надел пиджак,
на пиджак нагрудный знак
под названием «ГТО».
Сверху он надел пальто.
На него, стяхнувши пыль,
он надел автомобиль.
Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху он надел жену,
и вдобавок — не одну,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.
Опоясался как рыцарь
государственной границей.
И, качая головой,
надевает шар земной.
Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг.
Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.
(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без Времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

1975

ПЕСЧАНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

Человек бежит песчаный
по дороженьке печальной.

На плечах красиво сшита
майка в дырочках, как сито.

Не беги, теряя вес,
можешь высыпаться весь!

Но не слышит человек,
продолжает быстрый бег.

Пробегает по Москве —
остается: «ЧЕЛОВЕ...».

Где ты, Детское Село?
Остается лишь: «ЧЕЛО...».

Майка виснет на плече:
остается только: «ЧЕ...».

.....

Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

1975

* * *

Не исчезай на тысячу лет,
не исчезай на какие-то полчаса...
Вернешься Ты через тысячу лет,
но все горит
Твоя свеча.

Не исчезай из жизни моей,
не исчезай сгоряча или невзначай.
Исчезнут все.
Только Ты не из их числа.
Будь из всех исключением,
не исчезай.

В нас вовек
не исчезнет наш звездный час,
самолет,
где летим мы с Тобой вдвоем,
мы летим, мы летим,
мы все летим,
пристегнувшись одним ремнем, —
вне времен, —
дремлешь Ты на плече моем,
и, как огонь,
чуть просвечивает ладонь Твоя. Твоя ладонь.

Не исчезай
из жизни моей.

Не исчезай невзначай или сгоряча.
Есть тысячи ламп.
И в каждой есть тысячи свеч,
но мне нужна
Твоя свеча.

Не исчезай в нас, Чистота,
не исчезай, даже если подступит край.
Ведь все равно, даже если исчезну сам,
я исчезнуть Тебе не дам.

Не исчезай.

1975

Вы звали на палубы,
на дни рождения!..
Застолья совместны,
но смерти — отдельные...
Вы звали меня почитать стадионам —
на всех стадионах кричат заключенные!

Поэта убили, Великого Пленника...
Вы, братья Неруды,
затворами лязгая,
наденьте на лацканы
черные ленточки,
как некогда алые, партизанские!
Минута молчанья? Минута анафемы
заменит некрологи и эпитафии.

Анафема вам, солдафонская мафия,
анафема!
Немного спаслось за рубеж
на «Ильюшине».

Анафема
моим демократическим иллюзиям!

Убийцам поэтов, по списку, алфавитно —
анафема!
Анафема!
Анафема!

Пустите меня на могилу Неруды.
Горсть русской земли принесу. И побуду.
Прощусь, проглотивши тоску и стыдобу,
с последним поэтом убитой свободы.

1973

МОЛЧАЛИВЫЙ ЗВОН

СВЕЧА

Зое

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

Я думаю, на что похожая
свеча, снижаясь, догорит
от неба к нашему подножию?
Мне не успеть договорить.

Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
меж тыщи похоронных свечек —
свечу заздравную твою.

1971

ЯБЛОКИ С БРИТВАМИ

Хэллувин, Хэллувин — ну куда Голливуд?! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!

В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными ритмами
по дорогам гуляет осенний пикник.

Воздух яблоком пахнет,

но яблоком с бритвами.

На губах перерезанный бритвою крик.

Хэллувин — это с детством и летом разлука.
Кто он? — сука? насмешник? добряк? херувим?
До чего ты страшна, современная скука!
Хэллувин...

Ты мне плешь поздравленья, слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, девичий пыл,
но любовь — это райское яблоко с бритвами.
Сколько раз я надкусывал, сколько дарил...

Благодарствую, Боже, твоими молитвами,
жизнь — прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами, и за яблоки с бритвами
ты простишь нас. И мы тебя, Боже, простим.

Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Судилище том
допросить усмехающийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!

1974

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

С первого по тринадцатое
нашего января
сами собой набираются
старые номера
сняли иллюминацию
но не зажгли свечей
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей
с первого по тринадцатое
пропасть между времен
вытри рюмашки насухо
выключи телефон
дома как в парикмахерской
много сухой иглы
простыни перетряхиваются
не подмести полы
вместо метро «Вернадского»
кружатся деревья
сценою императорской
кружится Павлова
с первого по тринадцатое

только в России празднуют
эти двенадцать дней
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет

вьюгою патриаршею
позамело капот
в новом непотерявшееся
старое настает
будто репатриация

я закопал шампанское
под снегопад в саду
выйду с тобой с опаскою
вдруг его не найду
нас обвенчает наскоро
светлая коронация
с первого по тринадцатое
с первого по тринадцатое.

1975

СОБЛАЗН

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою

перед будущим непониманием
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

**ИСПАНСКАЯ ПЕСНЯ ГРАФА РЕЗАНОВА
ИЗ ОПЕРЫ «„ЮНОНА“ И „АВОСЬ“»**

И в моей стране и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране и в твоей стране.

И в одной цене — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране и в моей стране.

1977

ЛЕСНАЯ МАЛИЦА

Мало я в жизни успел быстротечной.
Мало любил вас, друзья и красавицы.
Мало я пил из вас, русские малицы —
эти источники чистосердечные.

Чистосердечна, чистосердечна
эта ладошка воды под обрывом.
Чистосердечная соотечественница,
роща с тобой не договорила.

С чистосердечной этой печалью
быстро снуют паутинки пространства,
что-то к одежде твоей пришивая,
в тайной надежде с тобой не расстаться.

1977

ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни черной, ни золотой.

Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.

Важны не хула или слава,
а есть в нем музыка иль нет.
Опальны земные державы,
когда отвернется поэт.

1978

ФАРЫ ДАЛЬНОГО СВЕТА

Если жизнь облыжная вас не дарит дланями —
помогите ближнему, помогите дальнему!

Помогите встречному, все равно чем именно.
Подвезите женщину — не скажите имени.

Не ищите в Библии утешенья книжного.
Отомстите гибели — помогите ближнему.

В жизни чувства сближены, будто сучья яблони,
покачаешь нижние — отзовутся дальние.

Пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила,
улыбнутся ближние, улыбнутся дальние.

У души обиженной есть отрада тайная:
как чему-то ближнему, улыбнуться — дальнему...

1977



Успеть бы свой выполнить жребий,
хотя бы десятое спеть,
забвенное слово «свобода»
по-русски осмыслить успеть.

Успеть бы издать Ходасевича,
суметь не продаться за снедь,
в метель — обнаженную розу
к ногам Твоим бросить успеть.

Сжать мышцы брюшные железно,
когда тебе врежут под дых,
не дать запороть иноходца,
жеребчика из молодых.

Такси с петушиным гребнем
уже кукаречит чуть свет —
спешит ежедневный мой жребий
к удмуртам и в Витебск успеть.

Успеть бы исполнить свой жребий
на флейте пронзительных дней,
не списанной флейте надежды,
на внутренней флейте Твоей.

Не мысля толпе на потребу,
но именно потому,
успеть бы свой выполнить жребий —
народу помочь своему.

1987

ЧЕЛОВЕК ПОРОДЫ СЕНБЕРНАР

Выбегает утром на бульвар
человек породы сенбернар.
Он передней лапой припадал,
говорили, — будучи в горах,
прыгнул за хозяином в завал
и два дня собой отогревал.
Сколько таких бродит по Руси!
Пес небесный, меня спаси.

Я его в компаниях видал.
Неуклюжий и счастливый раб,
нас сквозь снег до трапа провожал,
оставляя отпечатки лап.
Сенбернар, подбрось в аэропорт!
Сенбернар, сгоняй за коньяком!
И несется к вам во весь опор
верный пар над частым языком.

Изо всех людей или собак
сенбернары ближе к небесам.
Мы не знали, где его чердак.
Без звонка он заявлялся сам.
Может, то не лапы, а шасси!
Пес небесный, меня неси.

Пес, никто не брал тебя всерьез.
Но спасал, когда нас забывал

человек по имени Христос,
человек породы сенбернар.

Вдруг в одной из наших Галатей
он увидел бедственный сигнал
и, как в пропасть, бросился за ней.
Брось! Будь человеком, сенбернар.

Позабыл, что взят ты напрокат.
Наша жизнь — практически буран!
Женщинам не надо серенад,
был бы на подхвате сенбернар.

«Я родился быть твоим рабом,
волочить из бездны на краю.
Только жизнь тебе я подарю
на снегу, от вмятин голубом».
«Будь же человеком, дуралей!
Разбудил. Замучил. Отдышал.
Ты — четвероногая метель,
мой уже последний перевал».

Для других спасает сенбернар.
Человек влюбился для себя.
Мы на возмущенный семинар
собирались, кару торопя...

Он пришел. Нашарил в кухне газ.
Снял ошейник. Музыку врубил.
И лежал, не открывая глаз,
пока сенбернара не убил.
С той поры в компаниях пропал
человек породы сенбернар.
Как метель гуляет по Руси!
Пес небесный, меня прости.

1987

ЕЕ ПОВЕСТЬ

— Я медлила, включивши зажиганье.
Куда поехать? Ночь была шикарна.
Дрожал капот, как нервная борзая.
Дрожало тело. Ночь зажгла вокзалы.
Все нетерпенье возраста Бальзака
меня сквозь кожу пузырьками жгло —
шампанский возраст с примесью бальзама!

Я опустила левое стекло.

И подошли два юные Делона —
в манто из норки, шеи оголенны.
«Свободны, мисс? Расслабиться не прочь?
Пятьсот за вечер, тысячу за ночь».

Я вспыхнула. Меня, как проститутку,
восприняли! А сердце билось жутко:
тебя хотят, ты — блеск, ты молода!
Я возмутилась. Я сказала: «Да».

Другой добавил, бедрами покачивая,
потупив голубую непорочь:
«Вдруг есть подруга, как и вы — богачка?
Беру я так же — тысячу за ночь».

Ах, сволочи! продажные исчадья!
Обдав их газом, я умчалась прочь.
А сердце билось от тоски и счастья!
«Пятьсот за вечер, тысячу — за ночь».

1989

БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у Папы Римского:

«Вы верите в тарелки?»

Улыбнувшись как нелепости,

мне ответил Папа:

«Нет».

И Христос небес касался,

легкий, как дуга троллейбуса,

чтоб стекала к нам энергия,

движа мир две тыщи лет.

В папскую библиотеку

дух Ив́анова наведывался.

И шуршал рукав папирусный. Был по времени обед.

Где-то к Висле мчались лебеди.

Шла сикстинская побелка.

И на дне реки познания поблескивал стилет.

Пазолини вел на лежбище по Евангелю и Лесбосу.

Боже, где надежда теплится?

Кому вернуть билет?

Бах ослеп от математики,

если только верить Лейбницу.

И сибирской группы «Примус»

римский выл эквивалент.

Округлив иллюминаторы,

в виде супницы и хлебницы

проплыла Капелла Паццы, как летающий объект.

ЗАЛ ЧАЙКОВСКОГО

В зале Чайковского лгать не удастся.
Синие кресла сжаты друг к другу —
с белой каймою, как адидасы.
Здесь тренируется сборная духа.

Если подыметесь к выходу ряд,
небо полоской плеснет синеву.
Центр духовности, как говорят,
перемещается в нашу страну.

Где еще в мире так жаждут Живаго?
Нет облепихи. С продуктами глухо.
Где еще в мире подобная жвачка?
Но есть Олимпийская сборная духа!

Сборная духа, дети идеи,
Вы, духовница Ван Гога без уха,
Ты, озаренная синим сиденьем, —
вы Олимпийская сборная духа!

С Бронной до синего Селигера
всем не хватает пока адидасов.
«Прости нас, Есенин!» Идут к «Англетеру»
В сборную духа есть кандидаты.

Из хулиганов духа выходят
форварды духа.

Делакруа для картины «Свобода»
брал не святошу, а потаскуху.
Уходят под взорами небосвода
форварды духа в тренеры духа...

Ангелы с хоров стоят без комфорта.
Чайник в партере кипит за супругой,
будто сидит на горячей конфорке.
Вы — кандидат. Но не в сборную духа.

Дарвина чтите, предков любите!
Кому Сарасаты, кому зоосады.
Рушат компьютеры наши луддиты —
перед Европою с голым задом?

Новой идее грозит Вандея.
Сборная стягивается чернуха.
Утро вечера мудренее.
Это еще тренировка духа.

Зал этот строился для Мейерхольда.
Сборная духа пошла под дуло.
Нынче игра за этап переходный.
Не проиграй ее, сборная духа.

1999

МАЛЫЙ ЗАЛ

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкрина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовный индустрии и примусов,
в мире, замешенном на крови,

ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.
Я ощущаю присутствие в доме.
В темных стихиях ты наша заступница,
Тоня...

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалось. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,

с тайным присутствием идеала,
что приблизительно звали — любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в ужасе дня или радости дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите — своей.

1983

ВЕСТНИЦА

Я к вечеру шестого мая
в глухом кукушкином лесу
шел, просекою подымаясь,
к электротягам на весу.

Как вдруг,
спланировав на провод,
вольна причудой неземной,
она, серебряная в профиль,
закуковала надо мной.

На расстоянье метров сорок,
капризница моих тревог,
вздымала ювелирно зорко
свой беззаботнейший зобок.

Судьбы прищепка бельевая,
она причиною годов
нечаянно повелевала.
От них качался проводок.

И я стоял, дурак счастливый,
под драгоценным эхом их.
Я был отсчитывать не в силах.
Неважно сколько — но каких!

О Боже, — думал, — как жемчужно
ниспосланы наверняка —
необъяснимая пичужка,
нежданные твои века!

1983

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —

исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

Герцена интеллигенция!
Кто раскаялся, что лгал,
пусть подаст, как индульгенцию,
контрамарку в Малый зал.

В этом схожесть с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...

В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.

1982

СЕСТРА

Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc.
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик
написал бы Кранах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!

Что за дальний свет сострадания,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..

Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.
Кто сказал,
что не труженица
лобастая стрекоза?

Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,
не воруешь,
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор.
И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком
или сойдя с катушек,
когда я на острие —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вдохнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет,
как чугунный топот Петра.
А рядом — за стенкой,
за Истрою, за Москвою
страна живет, как сестра.

Сестра твоя по страданию,
по божеству родства,

по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?

Сестра моя, поспала бы...

В зимние вечера

над шитьем сутулятся

две русых настольных лампы.

Одна из них — моя сестра.

1982

ПРОПОРЦИИ

Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые шли,
были по три сажени — ровно
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде или Твери
чуял сердцем мильонную радиуса
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья,
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две мильонные доли Земли.

И как брат их березовых родин,
гениален на тот же размер,
Парфенона дорический ордер
в высоту шесть сажений имел.

Научитесь у них, умиленно-
пасторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли.

Ломоносовскому проспекту
не для моды ведь зодчий Москвы

те шестьсот тридцать семь сантиметров
дал как модуль красоты и любви.

Дай, судьба, мне нелегкую долю,
испытанья любые пошли —
болью быть и миллионною долей
и моей и всеобщей земли!

1983



Вижу как сон — ты стоишь в полукруге
новых подруг девятого дня.
Сосредоточенно, но не в испуге,
будто в обиде, не видишь меня.

А по спине под луной купоросной
льется волос распущенных вал.
Мало я знал тебя простоволосой.
В детстве, проснувшись, в пучке заставал.

Ты была праведница, праведница!
Кто ты теперь? Дай мне знать как-нибудь.
Будто с заминкой какой-то не справишься.
Я не решился тебя спугнуть.

Видно, стояла перед астралом.
Или русалка какая, шутя,
меня разыгрывала, отсталого?
Еще секунду я видел тебя.

Темной тревогой вздрогнуло тело —
мать пролетела.

Милое дело. Обычное дело.
Мать пролетела — жизнь пролетела.

Прощай, прощай! Кружись над краем
плачущим.

Лишь ветви елей, воздух уколов,
поднимут указательные пальчики
спадающих широких рукавов.

1983

РОК

Рок надо мною. Куда меня гоните?
По раскладушкам мечусь, как изгой.
Горе как погреб в любой раскрывается
комнате
Ров подо мною — рок надо мной.

Что я хотел? Чтобы жить как манило.
Что получил я? Счет гробовой.
Под колыбелью раскрылась могила.
Ров подо мною — рок надо мной.

Это расплата космического расклада.
Всем, кого любишь, оказываешься бедой.
Как я любил переделкинские пенаты!
Смыло щепой.

А в небесах ненасытным уроком
воет душа,
что в сердцах самовольно спустила курок.
Рок над семьею, откуда я родом.
И над землей, где семья моя, рок.

Чем я служил в эти светлые годы,
кроме стихов, что попутно изрек?
Я для народа домашнего был тайным
громоотводом.
Трещит позвоночник. Такой уж рок.

1983

* * *

Просто — наше шоссе и шиповник.
Дождь из облачка невпопад.
Как подошвы чьих-то шиповок,
лужи гвоздиками торчат.

Я всему говорю спасибо —
непосильного счастья боль,
непосильное небо синее,
непосильна земная соль.

1983

РЯБИНА В ПАРИЖЕ

Скоро сорок шестая година,
как вы ездили с речью в Париж.
Пастернаковская рябина,
над всемирной могилой горишь.

Поезд шел по Варшавам, Берлинам.
Обернулась Марина назад.
«Россия моя, лучина...»
А могла бы рябиной назвать.

Ваша речь не спасла от лавины.
Впрочем, это еще вопрос.
Примороженную рябину
я по ягодке каждому вез.

И когда по своим лабиринтам
разбредемся в разрозненный быт,
переделкинская рябина
нас, как бусы, соединит.

1982

РЕДКИЕ КРАЖИ

Обнаглели духовные громилы!
На фургон с Цветаевой совершен налет.
Дали кляп шоферу —
 чтоб не декламировал.
Драгоценным рифмам настает черед.

Значит, наступают времена Петрарки,
когда в масках грабящие мужи
кареты перетряхивали
 за стихов тетрадки.
Маскультурники вынули ножи.

Значит, настало время воспеть Лауру
и ждать —
 придет в пурпурном
 подводном шлеме Дант.
У бандитов тоже есть дни культуры.
Угнал вагон Высоцкого
 какой-то дебютант.

Запирайте тиражи,
скоро будут грабежи!..

«Граждане,
 давайте воровать и спекулировать,
и из нас появится Франсуа Вийон!

Он издаст трагичную
„Избранную лирику“.
Мы ее своруюем и боданем»

Одному поэту проломили череп,
вытащили песни лесных полян,
и его застенчивый щегловый щебет
гонит беззастенчивый спекулянт.

А другой сам продал
голос свой таранный.
Он теперь без голоса —
лишь хлоп из гланд.
Спекулянт бывает порой талантлив.
Но талант не может быть спекулянт.

Но если быть серьезным —
Время ждет таланта.
Пригубляйте чашу с молодым вином.
Тьма аквалангистов, но нету Данта.
Кое-кто ворует —
но где Вийон?

Но главное, что время воспеть Лауру!
И кто-то уже бросил
монетку в автомат.
«Пройдемся, — позвонит мне. —
Уснули караулы.
Я — Дант».

1982

СИНИЙ ЖУРНАЛ

В. Быкову

Цвет новомировский,
с отсветом в хмарь —
неба датированный
почтарь!

В ящик проглянет
неба прищур
этих без глянца
синих брошюр.

Метростарушка,
в лифте чудак
небом наружу
станут читать.

Не изменились,
не отцвели,
цвет новомировский, —
читатели!

Цвет новомировский,
авторов цвет...
Жизни нормированы.
Многих уж нет.

Все по России
носит почтарь
порции синего
с отсветом в хмарь.

Интеллигенция
встанет моя,
зябнув коленцами
после спанья.

Синей обложкой
внутри завернет,
будто из неба
сложив бутерброд.

В спешке кухонной
станем с тобой
пищей духовной,
пищей богов.

1980

* * *

Тихо-тихо. Слышно точно,
как текут

секунды

дней.

Струйкой тихою песочка
пересыпается

цепочка

на шее дышащей твоей...

1982

* * *

Прошло много ли мало —
снова стон из тумана:
«Разве я понимала?
Разве я понимала?»
Где-то в Тьмутаракани
в номерах у вокзала —
«Я была молодая.
Разве я понимала?»
Непонятная сила,
что казалась романом —
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»
Самолеты летели,
и менялись составы.
Твое солнце налево.
Мое солнце направо.
«Один раз я любила.
Разве я понимала?»
Менять шило на мыло —
я тебе не «меняла».
Не вопи ты над нами
темнотой поминальной!
Или это поддатый
голос Бога в тумане?
Я люблю тебя, дура,

моя жизнь золотая.
Разве я понимаю?
Разве я понимаю?

1983

ШТИЛЬ

Вторую ночь без всякой дрожи
под круглой красною луной
отвесно врезана дорожка
неумолимою рукой.

Ты говоришь: «То зодчий ада,
чтобы задумалась толпа,
нас тешит планом и фасадом
огненновидного столба».

1982

БЕЗОТЧЕТНОЕ

РЕЧЬ

Смертны камень, и воздух,
и феномен человека.
Только текучий памятник
нельзя разложить и сжечь.
Не в пресловутую Лету —
впадаем, как будто в реку;
в Речь.

Речь моя,
любовница и соплеменница,
какое у тебя протяжное
московское «а»!
Дай мне
стать единицей
твоего пространства и времени —
от Таганки
до песни,
где утонула княжна.

С этого «а»
начинается жизнь моя и тихий амок.
Мы живем в городе
под названьем Молва.
Сколько в песне
утоплено персиянок!..
«а-а-а»...

тех, кто смог твоим «а»,
словно яблочком,
губы обжечь.

Благодарю, что случился

твоим кратким поэтом,

моя русская Речь!

1980

БЕЗОТЧЕТНОЕ

Изменяйте дьяволу, изменяйте черту,
но не изменяйте чувству безотчетному!

Есть в душе у каждого, не всегда отчетливо,
тайное отечество безотчетное.

Женщина замешана в нем темноочевая,
ты — мое отечество безотчетное!

Гуси ль быстротечные вытянут отточие —
это безотчетное, это безотчетное,

осень ли настояна на лесной рябине,
женщины ль постукают четками грибными,

иль перо обронит птица неученая —
как письмо в отечество безотчетное...

Шинами обуетесь, мантией почетною —
только не обучитесь безотчетному.

Без него вы маетесь, точно безотцовщина,
значит, начинается безотчетное.

Это безотчетное, безотчетное
над рискованной пропастью вам пройти

нашептывает...

Когда черти с хохотом
вас подвешат за ноги,
«Что еще вам хочется?» — спросят вас под
занавес.

— Дайте света белого,
дайте хлеба черного
и еще отечество безотчетное!

1979

НЕДОПИСАННАЯ КРАСАВИЦА

Ф. Абрамову

Где холсты незабудкой отбеливают,
в клубе северного села
дочь шофера записку об Элиоте
подала.

Бровки, выгоревшие, белые,
на задумавшемся лице
были словно намечены мелом
на задуманном кем-то холсте.

Но глаза уже были — Те.

Те глаза — написаны сильно
на холщовом твоём лице —
смесь небесного и трясины —
говорили о красоте.

Недописанная красавица!
Будто кто-то, начав черты,
испугался, чего касается,
и бежал твоей красоты.

В тебе что-то от нашей жизни
с непрописанною судьбой,
что нуждается в некоей кисти,
чтоб себя осознать самой.

Телевизорная провинция!
Ты себя еще не нашла.
И какая в тебе предвидится
непроснувшаяся душа?

Телевизорная провинция,
чьи бревенчатые шатры
нынче сумерничают с да Винчи,
загадала твои черты.

С шеи свитер свисал как обод,
снятый с местного силача.
И на швах готовые лопнуть
джинсы — тоже с чужого плеча.

В жизни что-то происходило!
Темноликие земляки.
Но ресницы их белыми были —
словно будущего штрихи.

И стояла моя провинция,
подпирающая косяк,
и стояла в ней боль пронзительная
вдруг пропишется, да не так...

Время в стойлах мычало, бляело.
Рождество намечалось в них.
И тревожился не об Элиоте
очарованный черновик.

Двадцать первого века подросток
мучил женщину наших дней.
Вся — набросок!
Жизнь, пошли художника ей.

1979

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — придет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979

БАЛЛАДА

Я сегодня приду
и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу,
твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — без помех».

Отключится вода,
и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать
будут воздух хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты
заскользит, словно шрам,
след резинки над животом.
Я увижу, что ты —
пополам, пополам —
в этом веке и веке другом.

Обернусь я к гостям —
гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем
мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» —
ты ответишь под смех.
Современники дискотек
будут в пол нам стучать
и напомнят опять,
что бессмертен XX век.

1980

РАМА

* * *

Когда звоню из городов далеких —
Господь меня простит, да совесть не простит, —
я к трубке припаду — услышу хрипы в легких,
за горло схватит стыд.

На цыпочках живешь. На цыпочках болеешь,
чтоб не спугнуть во мне наитья благодать.
И черный потолок прессует, как Малевич,
и некому воды подать.

Токою как глухарь, по городам торгую,
толкуют пошляки.
Ударят по щеке — подставила другую.
Да третьей нет щеки.

1977

* * *

Я шел асфальтом. Серый день.
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень,
от жизни брошена моей.

Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего,
твой ответ, в памяти живой,
шел, как с фонариком, за мной.

1979

ОДА ОДЕЖДЕ

Первый бунт против Бога — одежда.
Голый, созданный в холоде леса,
поправляя Создателя дерзко,
вдруг — оделся.

Подрывание строя — одежда,
когда жердеобразный чудак
каждодневно
желтой кофты вывешивал флаг.

В чем великие джинсы повинны?
В вечном споре низов и верхов —
тела нижняя половина
торжествует над ложью умов.

И, плечами пожав, Слава Зайцев,
чтобы легче дышать или плакать, —
декольте на груди вырезает,
вниз углом, как арбузную мякоть.

Ты дыши нестесненно и смело,
очертаньями хороша,
содержанье одежды — тело,
содержание тела — душа.

1977

НИКОГДА

(на мотив В. Смита)

Я тебя разлюблю и забуду,
когда в пятницу будет среда,
когда вырастут розы повсюду,
голубые, как яйца дрозда.

Когда мышь прокричит «кукареку».
Когда дом постоит на трубе,
когда съест колбаса человека
и когда я женюсь на тебе.

1978

* * *

Когда ты забираешь наверх под кепку волосы, —
как подтыкают юбку, когда моют пол, —
с какой незащищенною незагорелой вольностью
восходит твоя шея к камням римских школ!

И все, что я успею, — запомнить эту шею
и завиток щекотный и поблагодарить
за то, что жизнь прекрасна и рядом на скамейке
московская камень в кепарике парит!

1980

* * *

Зашторены закаты,
а может, день за кадром,
иное время мира?
За что ты мне такая,
с бескрайними ногами —
отсюда до Таймыра?

Наполнены стаканы,
осушены стаканы,
и подняты стаканы.
За что? За наши тайны.
За то, что загадали.
За что ты мне такая?

За что я потакаю
твоим дурацким выходкам?
Тебя бы батогами...
На людях — таратайка,
а рядом — тише выдоха,
за что ты мне такая?

Чуть проступают позвонки,
как снегом скрытая дорога.
Не «напиши», не «позвони» —
побудь такую, ради бога...

Когда с тобою говорим,
во рту — как мятная истома.
Я — гений, если я достоин
назвать тебя и быть твоим.

1979

РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «„ЮНОНА“ И „АВОСЬ“»

Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.
Белую ветку юный любовник
графской жене принес.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.
Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.
Только известно — графский садовник
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?
Выстрел раздался вдруг.
Красный от крови — красный шиповник
выпал из мертвых рук.

Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.
Как тебя звали, юноша милый?
Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.

Белый шиповник, дикий шиповник,
в память любви цветет.

1977

ПЕСНЯ НА «БИС»

Концерт давно окончен, но песня бесконечна.
Снял звукооператор уставший микрофон.
Я вместо микрофона спою в бутон тюльпана
на сцене мировой.

Я вам спою еще на «бис» —
не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь.
Но я артист.
Я повторю.

Спасибо за тюльпан,
за то, что пело в нас,
спасибо за туман
твоих опять влюбленных серых глаз.

Я повторю судьбу на «бис».
Нам только раз в земном краю
дарует Бог любовь и жизнь.
Но я не Бог.
Я повторю.

1981

РЕСТОРАН

Я пою в нашем городке
каждый день, в праздной тесноте.
Ты придешь, сядешь в уголке.
Подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,
подберу музыку к лицу,
подберу музыку к словам,
что тебе в жизни не скажу.

Потанцуй под музыку мою.
Все равно, что в жизни суждено, —
под мою ты музыку танцуешь,
все равно...

Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь.
Я тебя взглядом провожу.
За окном будет только дождь.
Подберу музыку к дождю.

В ресторан ходят отдохнуть
и когда все не по нутру.
Подберу с ходу что-нибудь,
как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.
Но всегда музыка одна.
Если я в жизни упаду,
подберет музыка меня.

1977

РЕГТАЙМ

Барабан был плох,
барабанщик — бог.

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый
и умеет плавать, как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапер.

Черный клавиш — белый клавиш.
Все, что было, не поправишь.
Он еще не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро» —
современной музыки девиз.

Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.
Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.

У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»
и летайте ночи напролет.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций.
С ним в оркестре гонщица поет.

1983

НЕБЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Родился мальчик в самолете.
Застыли в небе два крыла.
Его в притихнувшем салоне
бортпроводница приняла.

Пусть ему в метрике заполнят:
«Место рожденья — небеса».
Необъяснимое запомнят
его небесные глаза.

Он будет инженер-нефтяник.
Он будет жен земных менять —
все что-то тянет, тянет, тянет,
как будто наклонилась мать.

Он выбежит на крышу к небу,
забыв успех, семью, уют,
и наберет в ладони снегу,
как письма из дому берут.

1976

ЧЕЛОВЕК-МАГНИТОФОН

Каждым утром рано
у своих ворот
местный Челентано
песенку поет.
У него нет денег
на магнитофон.
Сам, как фонотека,
полон песен он.
Девушка в «бананах»
по мостам ночным,
как с магнитофоном,
ходит вместе с ним.
Он поет ей «Спейсов»
сорок раз на дню.
Но однажды песню
он споет свою —
о своей тропинке,
где в тоске своей,
как лесной Есенин,
свищет соловей!

1983

МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров —
и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен —
и всерьез!
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром ты встанешь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь ее поезд увез.
Но в ее жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенес.
Но в его жизни была
целая площадь из роз...

1982

НЕ ОТРЕКУСЫ

* * *

Не понимать стихи — не грех.
«Еще бы, — говорю, — еще бы...»
Христос не воскресал для всех.
Он воскресал для посвященных.

Чтоб стало достоянием всех,
гробница, опустев без тела,
как раковина иль орех, —
лишь посвященному гудела.

1977

НАД ОМУТОМ

Девочка с удочкой, бабушка с удочкой
каждое утро возле запруд —
женщина в прошлом и женщина в будущем —
воду запретную стерегут.

Как полыхают над полем картофельным
две пробегающих женских зари!
Как повторяется девичьим профилем
профиль бабушкин изнутри!

Гнутые удочки, лески капронные
в золоте омута отражены,
словно прозрачные дольки лимонные.
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?
Юбки упруги. В ведрах лещи.
«Бабушка, правда, есть рыба бельдюга?»
«Дура, тащи!»

Как хороша эта страсть удивившая!
Донная рыба рванет под водой.
И, содрогнув, пробежит по удилищу
рыболовецкий трепет мужской.

1975

ВЕРБА

Прорвавшись сквозь рынки, — весенняя, вербная, —
звонит деревенская интервенция!

В квартире царит незаконная ветка —
с победой, зеленая интервентка!

И пахнет грозой огуречная кожица,
очищена — тоненькая, как трешница.

И заново верится, и взвинчены женщины,
в умах — интервенция деревенщиков...

Да это же Вербное воскресение!
Обещано счастье в конце третьей серии,

и нас не смущает, что фильм двухсерийный...
Ну, нет — так накупим ташкентской сирени.

1978

* * *

В больничном саду воскресник.
На липы и на дубы
халатики, встав на лесенки,
накладывают бинты.

Халатики отлетели!
Но снятся дубам с тех пор
ментоловые метели
взволнованных медсестер.

1977

* * *

Вызывайте ненависть на себя почаще,
пусть кому-то нежному достанется счастье.

Под прицелом снайпера закурите «Мальборо»
и четверостишие напишите набело.

Вызывайте ненависть тем, что выживаете.
Пусть прицелы пляшущие скажут — вы из ваты.

И скажите с нежностью снайперу всемирному:
«Расстрелял всю ненависть?
Тебе легче, милый?»

1980

* * *

Я обожаю воздух сосновый!
Сентиментальности — от лукавого.
Вдохните разлуку в себя до озноба,
до иглоукальвания, до иглоукальвания...

Вденьте по ветке в каждую иголку,
в каждую ветку вденьте по дереву,
в каждое дерево родину вденьте —
и вы поймете, почему так колко.

1979

* * *

Две школы — женская, мужская...
Две школы — проза и стихи.
Зачем их разлучать? Не знаю.
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулезный,
поди попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

1981

СЛАДОСТРАСТИЕ

Наши трапезы — сладострастные.
Кулинарочка ты — потрясная!

Ты придешь, только скажешь: «Здрасьте!» —
умираю от сладострастья.

Воздух утром дрожит над пряслами
целомудренным сладострастьем.
Полосатый арбуз матрасный
скоро лопнет от сладострастья.
И березки дрожат за трассою —
адидасное сладострастье.

Отдавайтесь до обладания.
Заплывайте в любовь не в ластах!
Сладострастие сострадания.
Сострадание сладострастья.

Как подушечка для иглолок,
не от боли кричит — от счастья,
Себастьян — гениальный сполох
христианского сладострастья!

Как своячница д-ра Астрова
ненавязчиво сладострастна!
Жизнь — созданье. А цель созданья —
сладострастие состраданья.

Ты написана белым фломастером,
пахнешь сном и зубною пастой.
Твоя пятка — туз пятой масти.
Можно спятить от сладострастья!

Как я в жизни пролоботрясничал,
выяснял отношения с властью...
От невзгод наших спрячусь страусом
в твое белое сладострастье.

1999

РАСПУСТИ ВОЛОСЫ

Распусти волосы, что тебе срезали,
распустишься полностью,
распустишься в вольности, запусти классику,
запусти «Волосы»,
отпусти волосы до грибной Вологды, босиком по лесу,
где их мать расчесывала Гребенщиковым, —
до волны новой голосов войсовых —
распусти волосы.

От луны полосы. До звезды Сириус расппусти волосы,
свей гнездо, ласточка, говорю serious,
свей гнездо, swallow.

Опусти занавес над былой пропастью.
Ты в таком возрасте —
отрастут заново... Прекрати возгласы.
Проплыви шабаши в душевой шапочке,
распусти волосы.

Мужики сволочи, лишь хлюсты холосты,
а одной холодно,
пусть кричат мальчики, в жажде «вольв» бросовых:
«Королева — голая!»

Не они слышали, в шалаше шелковом твоего хвороста,
как шуршат шепотно, как трещат фосфорно —
хоть электрифицируйте
пол Московской области!

Что читать попусту? Темней философов
среди занюханных гладиолусов
твои тяжелые от волненья,
варфоломеевские волосы
с застрявшим крестиком белой сирени.
Пустите, волосы!

Над своим извергом, в майке «Мегаполиса»,
чтоб заснул вскорости, свет зашторь полностью,
а с утра внаглую по его просьбе
остригись наголо. И сожги волосы.

Отпусти, Господи, ей грехи молодости!
И прости волосы.

1995

ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Плётин и Плотин.

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платит супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!
За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.

Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!..»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
дном, унижениями, прачечными,
за все мужские палачества
женщине надо платить.

1995

Лишь в небе в акустическом цеху
Курехин оборвет свою строку —
ку...

1998

ЦИКЛАМЕНА

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена.

Не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкой детского ротика
цветет целомудренная эротика.

Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

Цвети, цикламена!

1996

* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ощупь. Ты меня очень...

Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.

Время нас мочит. Город нам — отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...

Лето ли, осень, а мы фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999

РУССКИЙ ЭРОС

Падали, хрипя до рвоты, ротные.
Чернозем остался на губе.
Эротическое чувство родины
прижимает, милая, к тебе.

И никелированная ересь,
месяцем пошедши на ущерб,
русский эрос — Эрэсэфэсэрос —
в небе молот скрещивал и серп.

Нержавейка озаряла серость
полосато, вроде лунных зебр.

За границей шепчем, как молитву,
наш нецензурированный словарь.
Дворянин, судимый за Лолиту,
сквозь нее усадьбу целовал.

Что сегодня называем «пошлостью» —
это не свобода сатаны,
это вопли на соборной площади
потерявшей родину страны.

Холода черемух приворотные...
Из чужих, заморских пропастей
эротическое чувство родины
тянет всех в последнюю постель.

1998

* * *

Ресторан качается, точно пароход,
а он свою любимую
замуж выдает.

Будем супермены.
Сядем визави.
Разве современно
жениться по любви?

Черная, белая, пьяная метель...
Ресторан закроется —
двинемся в мотель.
«Ты поправь, любимая,
трефовый парик.
Ты разлей рябиновку
ровно на троих.
Будет все как было.
Проще, может быть.
Будешь вечерами
в гости приходить,
выходя, поглубже
капюшон надвинешь,
может, не разлюбишь,
но возненавидишь...»
«Сани расписные», —
стонет шансонье.

Вот они отъедут —

расписанные...

И никто не скажет, вынимая нож:

«Что ж ты, скот, любимую

замуж выдаешь?»

1974

ПЕРИСКОПЫ

НИРВАНА

Я сознанию учусь параллельному.
Из Синьцзяна гуру мой с портфелем.

К потолку уплывают колени.
И нирвана дымит куренья,
словно профили параллельные
Маркса-Энгельса-Сталина-Ленина.

Жизнь бежит за стеной молельни.
Параллельны мы, параллельны.
Поправели вы? полевели вы?
Параллельны мы, параллельные.

Параллельные окна завешаны.
Параллельные женщины.
Параллельны мы, параллельные.
Нас поймут через поколение.

Над трамплином в небо смертельное,
как двуперстие на дорогу,
взвиты лыжины II,
словно путь Николая II.

Что ищу на горе Поклонной,
в нимбах, демонах, снах неузнанных?

Я ищу пропащую школьницу
в наушничках.

С рюкзачком она, как бойскаут.
Ее демоны не отпускают.
Ты во всем меня понимаешь,
как в наушниках Микки-Маус.
Как в нас демоны заревели,
когда встретились параллели!

Как зовут тебя в мире странном?
Ты не слышишь. Ты не ответишь.
Лишь мерцает сквозь суперветошь
имя вышитое: «Нирвана».

Называемая Нирваною,
моя школьница параллельная,
как минер, углубясь в мембраны,
ты смеешься:
«Нет мин. Проверено».
То, что раньше считалось — рано,
стало майками от Версаче.
Вранье взрослых переворачиваем
в палиндром — А НАВРИ, НИРВАНА.

Собираемся на Поклонной,
люди роликов, после школ.
Катитесь, Наполеоны,
на колесиках своих шпор!

Не на Лысой горе — на Поклонной,
не задев отставных полковников,
мы не варвары, мы не эллины,
мы парим, нирванопоклонники,
параллельное поколение!..

Между пьяниц с глазами кроликов,
как прабабка твоя меж пьяными,
ты скользишь, королева роликов,
именуемая Нирваною!

Ах, Нирвана, свобода зверская,
с синячками от банды сверстников.
Параллельны мы, параллельные...
Вас поймут через поколение.

1995

ШКОЛЬНИЦА

Ревет метро, как пылесос.
Бледнеют взрослые, как монстры.
Под кокаиновой пылью
дрожали ноздри.

И это крылышко с брильянтом,
и ноздри с белым ободком
притягивались хоботком
к беде, сладчайшей и приватной.

К чему фальшивые жемчужины?
Уже поехал потолок.
И лобик, мыслями замученный...
Лети, мой падший мотылек!

Не вызывайте «скорой помощи»!
Тот хоботок неумолим.
И ноздри с чуткою каемочкой...
Ах, окаянный кокаин!

Летишь от наших низких истин,
от туалетного бачка —
небесная кокаинистка,
набоковская бабочка!

1995

УЛЕТ

на деревьях висит тай
очки сели на кебаб
лучше вовсе бросить шко
боже отпусти на не

ель наденет платье диз
фаны видят мой наф-на
и на крыше нафтали
боже отпусти на не

не мелодия для масс
чево публику пуга
Зыкина анти му-му
боже отпусти на не

тятя тятя наши се
цаца цаца ца мертве
леннона проходят в шко
господи пусти на ю

до свидания бельмон
инактриса пошла к
зонцы выбирают барби
Нику дали шизофре
рновскую вкушают СМИ

ад пусти меня на зап
да хотя бы в нику
enthusiasm это kitch

оба сели с свои вольв
мент проверил их доку
оказались безрабо

ердие безрукой Милос
тронь фонариком мне ну
много в человеке те

политически ужо
единенье кажный раз
сколько жен/ударов в мин
я кричу что гибнет росси

боже отпусти на не
лампа-жизнь разбилась попо
ты не оправдала меч

боже отпусти на не
1996

* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.

Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.

Матерком твоим чистым
и толковым уменьем —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновеньем.

Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!

Жемчуга среди щебня.
Ландыши среди хвороста.
Расставанья волшебные
мотылькового возраста.

1996

МОЛИТВА

Из поэмы «Кара Карфагена»

Помоги, помоги, помоги,
я Тебя умоляю о помощи.
Помоги мне стерпеть позвонки
и пройти, не хватаясь за поручни.

Мой в испарине лоб промокни.
У тебя не один я, страдалец.
Я ей должен помочь. Помоги!
Без меня она в мире осталась.

Помоги мне достроить собор.
Помоги мне сейчас не погибнуть.
Помоги мне остаться собой.
Помоги мне Тебя не покинуть.

1996

ГАРЬ

Гарь, гарь, гарь...
Над страной — карр! карр!
За стеной: «Дай, Галь...»

Запаркуй кар.
Стол. Хмарь харь.
На душе гарь.

Подгорел сухарь?
Или жгут орех?
Гарь, гарь, гарь —
это пахнет грех.

Едкий вкус дымка,
перегрев ТВ?
Или же река
курит в рукаве?

Пей или ругай —
но в сознание всех —
гарь, гарь, гарь.
Это пахнет грех.

Угорелые народы.
Угорелая свобода.
Некуда открыть окно.

1990

* * *

Я последний поэт России.
Не затем, что вымер поэт —
все поэты остались в силе.
Просто этой России нет.

1991

Обезумели — теленовости,
нет презумпции
невинности.

Христианская, не казенная.
Боль за ближнего, за Аксенова.
Любовь людская: жизнь-досада.
Держись, Васята!
Воскрешение — понимание
чего-то больше, чем реанимация,
нам из третьего измерения —
не вернутся назад, увы,
мысли Божие, несмиранные,
человеческой головы.

Разум стронется.
Горечь мощная.

Боль, сестреночка, невозможная!

Жизнь есть боль. Бой с собой.
Боль не чья-то — моя.

Боль зубная, как бор,
как таблетка, мала.

Боль, как Божий топор, —
плоть разрубленная.

Бой — отпор, бой — сыр-бор,
игра купленная.

Боль моя, ты одна понимаешь меня.

Как любовь к палачу,
моя вера темна.

ЖИЗНЬ

Благодарю за ширь обзора,
за Озу, прозу, и в конце —
за вертикальные озера на ненакрашенном лице.

2007

ДОМ С РУЧКОЙ

Как живется вам, мышка-норушка?
Стал с наружной лестницей дом
походить на тесовую кружку,
перевернутую вверх дном.

С этой лестницы многое видно.
Она — красочный репортаж,
где вдыхаемый индивидуум
поднимается на этаж.

Прерывающимся дыханием
дышит дом... дышит дом... дышит дом...
В нем мы трудимся, отдыхаем
и, бывает, баклуши бьем.

Начинающая архитектор,
спроецировав дышащий дом,
наделила нечаянным спектром
интерьер его — и кругом.

Это просто невыносимо:
если нам перекроют шланг —
видеть легкие выносные.
Или воздух берет акваланг?

Станем душами. Здесь мы жили.
Любили морепродукт.

Пусть весело ночи чужие
по нашим ступенькам пройдут!

Подслушка или наружка? —
Не поймут этот сложный маршрут.
Почему она светится, ручка?
И куда те ступени ведут?..

2008

* * *

Мы уплывали вместе, обняв мой крест...

2010

Мне четырнадцать лет

Рифмы прозы

«Тебя Пастернак к телефону!»

Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье.

Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услышали хлопнувший лифт. Дверь отворилась.

Он стоял в дверях.

Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлинленно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери.

Сухая, сильная кисть пианиста.

Поразила аскеза, нищий простор его истопленного кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно.

Он заговорил с середины.

Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддерживал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела.

Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его.

Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом».

Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — изумрудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки:

Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи...

Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась.

...Все яблоки, все золотые шары...

С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности.

*

Почему он откликнулся мне?

Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком.

Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину?

Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем.

Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии.

Говорил он вздохом, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали.

«Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рожают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия.

*

Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не

было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое.

Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура, стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного.

Порядок дач поживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры.

Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже.

Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых.

Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания.

Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутуюсь и облакачиваюсь еще больше.

Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что труд-

но было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глаза: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин.

Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем.

Мне далекое время мерещится,
Дом на стороне Петербургской.
Дочь степной небогатой помещицы,
Ты — на курсах, ты родом из Курска.

Чтения обычно длились около двух часов. Иногда, когда ему надо было что-то объяснить слушателям, он обращался ко мне, как бы мне объясняя: «Андрюша, тут в „Сказке“ я хотел как на медали выбить эмблему чувства: воин-спаситель и дева у него на седле». Это было нашей игрой. Я знал эти стихи наизусть, в них он довел до вершины свой прием называния действия, предмета, состояния. В стихах цокали копыта:

Сомкнутые веки.
Выси. Облака.
Воды. Броды. Реки.
Годы и века.

Он щадил самолюбие аудитории. Потом по кругу спрашивал, кому какие стихи пришлись больше по душе. Большинство отвечало: «Все». Он досадовал на уклончивость ответа. Тогда выделяли «Белую ночь». Ливанов назвал «Гамлета». Несыгранный

Гамлет был его трагедией, боль ту он заглушал галерством и куражами буффона.

Гул затих. Я вышел на подмости,
прислонясь к дверному косяку...

Ливанов сморкался. Еще более обозначились его набрякшие подглазья. Но через минуту он уже похотывал, потому что всех приглашали вниз, к застолью.

Спускались. Попадали в окружение, в голубой фейерверк испаряющихся натурщиц кисти его отца, едва ли не единственного русского художника-импрессиониста.

О эти переделкинские трапезы! Стульев не хватало. Стаскивали табуреты. Застолье вел Пастернак в упоении грузинского ритуала. Хозяин он был радужный. Вгонял в смущение уходящего гостя, всем сам подавая пальто.

*

Кто они, гости поэта?

Сухим сиянием ума шурился крохотный, тишайший Генрих Густавович Нейгауз, Гаррик, с неотесанной гранитной шевелюрой. Рассеянный Рихтер, Слава, самый молодой за столом, чуть смежал веки, дегустируя цвета и звуки. «У меня вопрос к Славе! Слава! Скажите, существует ли искусство?» — навзрыд вопрошал Пастернак. Рядом сидела стройная грустная Нина Дорлиак, графичная, как черные кружева.

Какой стол без самовара?

Самоваром на этих сборищах был Ливанов. Однажды он явился при всех своих медалях. Росту он был петровского. Его сажали в торец стола, напротив хозяина. Он шумел, блистал. В него входило, наверное, несколько ведер.

«Я знал качаловского Джима. Не верите? — вскипал он и наливался. — Дай лапу, Джим... Это был черный злобный дьявол. Вельзевул! Все трепетали. Он входил и ложился под обеденный стол. Никто из обедавших не смел ногой шевельнуть. Не то что по шерстке бархатной потрогать. Враз бы руку отхватил. Вот каков кунштюк! А он сказал: „Дай лапу мне...“ Выпьем за поэзию, Борис!»

Рядом смущенно и умильно жмурился большезлазый Журавлев в коричневой паре, как майский жук. Мыслил Асмус. Разлаписто, по-медвежьки заходил Всеволод Иванов, кричал: «Я родил сына для тебя, Борис!»

Помню античную Анну Ахматову, августейшую в своей поэзии и возрасте. Она была малоречива, в широком одеянии, подобном тунике. Пастернак усадил меня рядом с ней. Так на всю жизнь и запомнил ее в полупрофиль.

Врезался приход Хикмета. Хозяин поднял тост в честь него, в честь революционного зарева за его плечами. Назым, отвечая, посетовал на то, что вокруг никто не понимает по-турецки и что он не только зарево, но и поэт и сейчас почитает стихи. Читал буйно. У него была грудная жаба, он тяжело дышал. Когда уходил, чтобы не простыть на улице, завернул грудь под рубахой газетами — нашими и зарубежными, — на даче их было навалом. Я пошел проводить его. На груди у поэта шуршали события, шуршали земные дни.

Заходил готический Федин, их дачи соседствовали. Чета Вильям-Вильмонтов восходила к осанке рокотовских портретов.

Жена Бориса Леонидовича, Зинаида Николаевна, с обиженным бантиком губ, в бархатном черном платье, с черной короткой стрижкой, похожая на дам арнуво, волновалась, что сын ее, Стасик Нейгауз, на парижском конкурсе должен играть утром, а рефлексy у него на вечернюю игру.

Рубен Симонов со сладострастной негой и властью читал Пушкина и Пастернака. Мелькнул Вертинский. Под гомерический стон великолепный Ираклий Андроников изображал Маршака.

Какое пиршество взору! Какое пиршество духа! Ренессанская кисть, вернее, кисть Боровиковского и Брюллова обретала плоть в этих трапезах.

Он щедро дарил моему взору великолепие своих собратьев. У нас был как бы немой разговор с ним. Порой сквозь захмелевший монолог тоста я вдруг ловил его смешливый карий заговорщицкий взгляд, адресованный мне, сообщавший нечто, понятное лишь нам обоим. Казалось, он один был мне сверстником за столом. Эта общность тайного возраста объединяла нас. Часто восторг на его лице сменялся выражением ребячьей обиды, а то и упрямством.

Иногда он просил меня читать собравшимся стихи. Нырять как в холодную воду, дурным голосом я читал, читал...

На звон трамваев, одурев,
Облокотились облака.

Это были мои первые чтения на людях.

Иногда я ревновал его к ним. Конечно, мне куда дороже были беседы вдвоем, без гостей, вернее, его монологи, обращенные даже не ко мне, а мимо меня — к вечности, к смыслу жизни.

Порою комплекс обидчивости взбрыкивал во мне. Я восставал против кумира. Как-то он позвонил мне и сказал, что ему нравится шрифт на моей машинке, и попросил перепечатать цикл его стихотворений. Естественно! Но для детского самолюбия это показалось обидным — как, он меня за машинистку считает! Я глупо отказался, сославшись на завтрашний экзамен, что было правдою, но не причиною.

Пастернак — подросток.

Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. Так, в Бунине есть четкость ранней осени, он будто всегда сорокалетний. Пастернак же вечный подросток, неслух — «Я создан Богом мучить себя, родных и тех, которых мучить грех». Лишь однажды в стихах в авторской речи он обозначил свой возраст: «Мне четырнадцать лет». Раз и навсегда.

Как застенчив до ослепления он был среди чужих, в толпе, как, напряженно бычьась, нагибал шею!..

Однажды он взял меня с собой в Театр Вахтангова на премьеру «Ромео и Джульетты» в его переводе. Я сидел рядом, справа от него. Мое левое плечо, щека, ухо как бы онемели от соседства, как от анестезии. Я глядел на сцену, но все равно видел его — светящийся профиль, челку. Иногда он проборматывал текст за актером. На сцене в поединке с Тибальдом блистал Ромео — Юрий Любимов, тогда герой-любownik Театра Вахтангова, еще не помышлявший ни о будущем театре, ни о том, что он будет ставить «Гамлета» в пастернаковском переводе и его военные стихи.

Вдруг любимовская шпага ломается, и — о чудо! — конец ее, описав баснословную параболу, падает к ручке нашего с ним общего кресла. Я нагибаюсь, поднимаю. Пастернак смеется. Но вот уже аплодисменты и вне всяких каламбуров зал скандирует: «Автор! Автор!» Смущенного поэта тащат на сцену.

Пирьы были его отдохновением. Работал он галерно. Два месяца в году он работал переводы, «барскую десятину», чтобы можно потом работать на себя. Переводил он по 150 строк в сутки, говоря, что иначе непродуктивно. Корил Цветаеву, которая если переводила, то всего строк по 20 в день.

У него я познакомился также с С. Чиковани, П. Чагиным, С. Макашиным, И. Нонешвили.

Мастер языка, он не любил скабрзностей и бытового мата. Лишь однажды я слышал от него косвенное обозначение термина. Как-то мелочные пуритане нападали на его друга за то, что тот напечатался не в том органе, где бы им хотелось. Пастернак рассказал за столом притчу про Фета. В подобной же ситуации Фет будто бы ответил: «Если бы Шмидт (кажется, так именовался самый низкопробный петербургский тогдашний сапожник) выпускал грязный листок, который назывался бы словом из трех букв, я все равно бы там печатался. Стихи очищают».

Как бережен и целомудрен был он! Как-то он дал мне пачку новых стихов, где была «Осень» с тичиановской золотой строфой — по чистоте, пронизанности чувством и изобразительности:

Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

(Первоначальный вариант:

Твое распахнутое платье,
Как рощей сброшенные листья...)

Утром он позвонил мне: «Может быть, вам показалось это чересчур откровенным? Зина говорит, что я не должен был давать вам его, говорит, что это слишком вольно...»

*

Поддержка его мне была в самой его жизни, которая светила рядом. Никогда и в голову мне не могло прийти попросить о чем-то практическом —

например, помочь напечататься или что-то в том же роде. Я был убежден, что в поэзию не входят по протекции. Когда я понял, что пришла пора печатать стихи, я, не говоря ему ни слова, пошел по редакциям, как все, без вспомогательных телефонных звонков прошел все предпечатные мытарства. Однажды стихи мои дошли до члена редколлегии толстого журнала. Зовет меня в кабинет. Усаживает — этакая радушная туша. Смотрит влюбленно.

— Вы сын?

— Да, но...

— Никаких «но». Сейчас уже можно. Не таитесь. Он же реабилитирован. Бывали ошибки. Каков был светоч мысли! Сейчас чай принесут. И вы как сын...

— Да, но...

— Никаких «но». Мы даем ваши стихи в номер. Нас поймут правильно. У вас рука мастера, особенно вам удаются приметы нашего атомного века — ну вот, например, вы пишете «кариатиды...». Поздравляю.

(Как я потом понял, он принял меня за сына Н. А. Вознесенского, бывшего председателя Госплана.)

— ...То есть как не сын? Как однофамилец? Что же вы нам голову тут морочите? Приносите чушь всякую вредную. Не позволим. А я все думал — как у такого отца, вернее, не отца... Какого еще чаю?

Но потом как-то напечатался. Первую, пахнущую краской «Литгазету» с подборкой стихов привез ему в Переделкино.

Поэт был болен. Он был в постели. Помню склонившийся над ним скорбный осенний женский силуэт, похожий на врубелевскую майоликовую музу. Смуглая голова поэта тяжело вминалась в белую подушку. Ему дали очки. Как просиял он, как заволновался, как затрепетало его лицо! Он прочитал стихи вслух. Видно, он был рад за меня. «Значит, и мои дела не так уж плохи», — вдруг сказал он. Ему из

стихов понравилось то, что было свободно по форме. «Вас, наверное, сейчас разыскивает Асеев», — пошутил он.

*

Асеев, пылкий Асеев со стремительным вертикальным лицом, похожим на стрельчатую арку, фанатичный, как католический проповедник, с тонкими ядовитыми губами, Асеев «Синих гусар» и «Оксаны», менестрель строек, реформатор рифмы. Он зорко парил над Москвой в своей башне на углу Горького и проезда МХАТа, годами не покидая ее, как Прометей, прикованный к телефону.

Я не встречал человека, который так беззаветно любил бы чужие стихи. Артист, инструмент вкуса, нюха, он, как сухая нервная борзая, за версту чуял строку — так он цепко оценил В. Соснору и Ю. Мориц. Его чтили Маяковский и Мандельштам. Пастернак был его пламенной любовью. Я застал, когда они уже давно разминулись. Как тяжелы размолвки между художниками! Асеев всегда влюбленно и ревниво выводывал — как там «ваш Пастернак»? Тот же говорил о нем отстраненно — «даже у Асеева и то последняя вещь холодновата». Как-то я принес ему книгу Асеева, он вернул мне ее не читая.

Асеев — катализатор атмосферы, пузырьки в шампанском поэзии.

«Вас, оказывается, величают Андрей Андреевич? Здорово как! Мы все выбивали дубль. Маяковский — Владим Владимыч, я — Николай Николаевич, Бурлюк — Давид Давидыч, Каменский — Василий Васильевич, Крученых...» — «А Борис Леонидович?» — «Исключение лишь подтверждает правило».

Асеев придумал мне кличку — Важноценский, подарил стихи «Ваша гитара — гитана, Андрюша», в тяжелое время спас статью «Как быть с Вознесен-

ским?», направленной против манеры критиков «читать в мыслях». Он рыцарски отражал в газетах нападки на молодых скульпторов, живописцев. В своей панораме «Маяковский начинается» он назвал в большом кругу рядом с именами Маяковского, Хлебникова, Пастернака имя Алексея Крученых.

*

Тут в моей рукописи запахло мышами.

Острый носик, дернувшись, заглядывает в мою рукопись. Пастернак остерегал от знакомства с ним. Он появился сразу же после первой моей газетной публикации.

Он был старьевщиком литературы.

Звали его Лексей Елисеич, Кручка, но больше подошло бы ему — Курчонок.

Кожа щек его была детская, в пупырышках, всегда поросшая седой щетиной, растущей запущенными клочьями, как у плохо опаленного цыплака. Роста он был дрянного. Одевался в отрепья. Плюшкин бы рядом с ним выглядел завсегдадем модных салонов. Носик его вечно что-то вынюхивал, вышныривал — ну не рукописью, так фотографией какой разжиться. Казалось, он существовал всегда — даже не пузырь земли, нет, плесень времени, оборотень коммунальных свар, упыриных шорохов, паутинных углов. Вы думали — это слой пыли, а он, оказывается, уже час сидит в углу.

Жил он на Кировской в маленькой кладовке. Пахло мышью. Света не было. Единственное окно было до потолка завалено, загажено — рухлядью, тюками, недоеденными консервными банками, вековой пылью, куда он, как белка грибы и ягоды, прятал свои сокровища — книжный антиквариат и списки.

Бывало, к примеру, спросишь: «Алексей Елисеич, нет ли у вас первого издания „Верст“?» —

«Отвернитесь», — буркнет. И в пыльное стекло шкафа, словно в зеркало, ты видишь, как он ловко, помолодев, вытаскивает из-под траченного молью пальто драгоценную брошюрку. Брал он копейки. Может, он уже был безумен. Он таскал книги. Его приход считался дурной приметой.

Чтобы жить долго, выходил на улицу, наполнив рот теплым чаем и моченой булкой. Молчал, пока чай остывал, или мычал что-то через нос, прыгая по лужам. Скупал все. Впрок. Клеил в альбомы и продавал в архив. Даже у меня ухитрился продать черновики, хотя я и не был музейного возраста. Гордился, когда в словаре встречалось слово «Заумник».

Он продавал рукописи Хлебникова. Долго расправлял их на столе, разглаживал, как закройщик. «На сколько вам?» — деловито спрашивал. «На три червонца». И быстро, как продавец ткани в магазине, отмерив, отхватывал ножницами кусок рукописи — ровно на тридцать рублей.

В свое время он был Рембб русского футуризма. Создатель заумного языка, автор «Дыр бул щыл», он внезапно бросил писать вообще, не сумев или не желая приспособиться к наступившей поро классицизма. Когда-то и Рембо в том же возрасте так же вдруг бросил поэзию и стал торговцем. У Крученых были строки:

Забыл повеситься
Лечу
Америку

Образования он был отменного, страницами наизусть мог говорить из Гоголя, этого заповедного кладезя футуристов.

Как замшелый дух, вкрадчивый упырь, он тишайше проникал в вашу квартиру. Бабушка подозрительно поджимала губы. Он слезился, попрошайничал и вдруг, если соблаговолит, вдруг верещал вам свою

«Весну с угощеньцем». Вещь эта, вся речь ее с редкими для русского языка звуками «х», «щ», «ю», «была отмечена весной, когда в уродстве бродит красота».

Но сначала он, понятно, отнекивается, ворчит, придуряется, хрюкает, притворяшка, трет зачем-то глаза платком допотопной девственности, похожим на промасленные концы, которыми водители протирают двигатель.

Но вот взгляд протерт, — оказывается, он жемчужно-серый, синий даже! Он напрягается, подпрыгивает, как пушкинский петушок, приставляет ладонь ребром к губам, как петушиный гребешок, напрягается ладошка, и начинает. Голос у него открывается высокий, с таким неземным чистым тоном, к которому тщетно стремятся солисты теперешних поп-ансамблей.

«Ю-юйца!» — зачинает он, у вас слюнки текут, вы видите эти, как юла, крутящиеся на скатерти крашенные пасхальные яйца. «Хлюстра», — прохрюкает он вслед, подражая скользкому звону хрусталя. «Зухрр», — не унимается зазывала, и у вас тянет во рту, хрупают от засахаренной хурмы, орехов, зеленого рахат-лукума и прочих сладостей Востока, но главное — впереди. Голосом высочайшей муки и сладострастия, изнемогая, становясь на цыпочки и сложив губы как для свиста и поцелуя, он произносит на тончайшей бриллиантовой ноте: «Мизюнь, мизюнь!..» Все в этом «мизюнь» — и юные барышни с оттопыренным мизинчиком, церемонно берущие изюм из изящных вазочек, и обольстительная весенняя мелодия Мизгиря и Снегурочки, и, наконец, та самая щемящая нота российской души и жизни, нота тяги, утраченных иллюзий, что отозвалась в Лике Мизиновой и в «Доме с мезонином», — этот всей несбывшейся жизнью выдохнутый зов: «Мисюсь, где ты?»

Он замирает, не отнимая ладони от губ, как бы ожидая отзыва юности своей, — стройный, вновь сероглазый принц, вновь утренний рожок российского футуризма — Алексей Елисеевич Крученых.

Может быть, он стал барыгой, воришкой, спекулянтом. Но одного он не продал — своей ноты в поэзии. Он просто перестал писать. Поэзия дружила лишь с его юной порой. С ней одной он остался чист и честен.

Мизюнь, где ты?

*

Почему поэты умирают?

Почему началась Первая мировая война? Эрцгерцога хлопнули? А не шлепнули бы? А проспал бы? Не началась бы? Увы, случайностей нет, есть процессы Времени и Истории.

«Гений умирает вовремя», — сказал его учитель Скрябин, погибший, потому что прыщик на губе сковырнул. Про Пастернака будто бы было сказано: «Не трогайте этого юродивого».

Может быть, дело в биологии духа, которая у Пастернака совпала со временем и была тому необходима?..

В те дни — а вы их видели
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

*

У меня с ним был разговор о «Метели». Вы помните это? «В посадке, куда ни одна нога не ступала...» Потом строчка передвигается: «В посадке, куда ни одна...» — и так далее, создавая полное ощущение дви-

жения снежных змей, движение снега. За ней движется Время.

Он сказал, что формальная задача — это «суп из топора». Потом о ней забываешь. Но «топор» должен быть. Ты ставишь себе задачу, и она выделяет что-то иное, энергию силы, которая достигает уже не задачи формы, а духа и иных задач.

Форма — это ветровой винт, закручивающий воздух, вселенную, если хотите, называйте это духом. И винт должен быть крепок, точен.

У Пастернака нет плохих стихов. Ну, может быть, десяток менее удачных, но плохих — нет. Как он отличен от стихотворцев, порой входящих в литературу с одной-двумя пристойными вещами среди своего серого потока посредственных стихов. Он был прав: зачем писать худо, когда можно написать точно, то есть хорошо? И здесь дело не только в торжестве формы, как будто не жизнь, не божество, не содержание и есть форма стиха! «Книга — кубический кусок дымящейся совести», — обмолвился он когда-то. Особенно это заметно в его «Избранном». Порой некоторый читатель даже устает от духовной напряженности каждой вещи. Читать трудно, а каково писать ему было, жить этим! Такое же ощущение от Цветаевой, таков их пульс был.

В стихах его «сервиз» рифмуется с «положеньем риз». Так рифмовала жизнь — в ней все смешалось.

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник...

В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных пяти комнатах квартиры жило еще шесть семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой Прасковьей, аристократическая рослая семья Неклюдовых

из семи человек и овчарки Багиры, семья инженера Ферাপонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной.

В коридоре сушились простыни.

У дровяной плиты среди кухонных баталий вздрагивали над керосинкой фамильные серьги Муси Неклюдовой. В туалете разведенный муж свистал «Баядеру», возмущая очередь. В этом мире я родился, был счастлив и иного не представлял.

Сам он до тридцать шестого года, до двухэтажной квартиры в Лаврушинском, жил в коммуналке. Ванную комнату занимала отдельная семья, ночью, идя в туалет, шагали через спящих.

Ах, как сочно рифмуется керосиновый свет «ламп Светлана» с «годами строительного плана»!

*

Все это было в его небольшой изумрудной тетрадке стихов с багровой шнуровкой. Все его вещи той поры были перепечатаны Мариной Казимировной Баранович, прокуренным ангелом его рукописей. Жила она около Консерватории, бегала на все скрябинские программы, и как дыхание клавиш отличает рихтеровского Скрябина от нейгаузовского, так и клавиатура ее машинки имела свой неповторимый почерк. Она переплетала стихи в глянцевые оранжевые, изумрудные и крапlachно-красные тетрадки и прошивала их шелковым шнурком. Откроем эту тетрадь, мой читатель. В ней колдовало детство.

Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете.
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье...

А в городе на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки...

Видите ли вы, мой читатель, мальчика со школь-
ным ранцем, следящего обряд весны, ее предчувст-
вие? Все, что совершается вокруг, так похоже на про-
исходящее внутри него.

И взгляд их ужасом обьят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград...

Такая рань, такое ошеломленное ощущение дет-
ства, память гимназиста предреволюционной Мос-
квы, когда все полно тайны, когда за каждым углом
подстерегает чудо, деревья одушевлены и ты причас-
тен к вербной ворожке. Какое ощущение детства че-
ловечества на грани язычества и предвкушения уже
иных истин!

Стихи эти, написанные от руки, он дал мне вместе
с другими, сброшюрованными этой же багровой шел-
ковой шнуровкой. Все в них околдовывало. В нем то-
гда царствовала осень:

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

В ту пору я мечтал попасть в Архитектурный, хо-
дил в рисовальные классы, акварелил, был весь во
власти таинства живописи. В Москве тогда гостила
Дрезденская галерея. Прежде чем возвратить в Дрез-
ден, ее выставили в Музее имени Пушкина. Волхонка
была запружена. Любимицей зрителей стала «Сикс-
тинская Мадонна».

Помню, как столбенел я в зале среди толпы перед
парящим абрисом. Темный фон за фигурой состоит из
многих слившихся ангелков, зритель не сразу замеча-

ет их. Сотни зрительских лиц, как в зеркале, отражались в темном стекле картины. Вы видели и очертания Мадонны, и рожицы ангелов, и накладывающиеся на них внимательные лица публики. Лица москвичей входили в картину, заполняли ее, сливались, становились частью шедевра.

Никогда, наверное, «Мадонна» не видела такой толпы. «Сикстинка» соперничала с масскультурой. Вместе с нею прелестная «Шоколадница» с подноси-ком, выпорхнув из постели, на клеенках и репродукциях обежала города и веси нашей страны. «Пьяный силён», — восхищенно выдохнул за моей спиной посетитель выставки. Под картиной было написано «Пьяный Силен».

Москва была потрясена духовной и живописной мощью Рембрандта, Кранаха, Вермейера. «Блудный сын», «Тайная вечеря» входили в повседневный обиход. Мировая живопись и с нею духовная мощь ее понятий одновременно распахнулись сотням тысяч москвичей.

Стихи Пастернака из тетради с шелковым шнурком говорили о том же, о тех же вечных темах — о человечности, откровении, жизни, покаянии, смерти, самоотдаче.

Все мысли веков, все мечты, все миры.
Все будущее галерей и музеев...

Теми же великими вопросами мучились Микеланджело, Врубель, Матисс, Нестеров, беря для своих полотен метафоры Старого и Нового Завета. Как и у них, решение этих тем в стихах отнюдь не было модернистским, как у Сальватора Дали, скажем. Мастер работал суровой кистью реалиста, в классически сдержанной гамме. Как и Брейгель, рождественское пространство которого заселено голландскими крестьянами, поэт свои фрески заполнил предметами окружавшего его быта и обихода.

Какая русская, московская даже, чистопрудная, у него Магдалина, омывающая из ведерка стопы возлюбленного тела!

На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.

Мне всегда его Магдалина виделась русоволосой, блондинкой по-нашему, с прямыми рассыпчатыми волосами до локтей.

Нас отбрасывала в детство
Белокурая копна...

А какой вещей знаток женского сердца написал следующую строфу:

Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.

Какой выстраданный вздох метафоры! Какая восхищенная печаль в ней, боль расставания, понимание людского несовершенства в разумении жеста мироздания, какая гордость за высокое предназначение близкого человека и одновременно обмолвившаяся, проговорившаяся, выдавшая себя женская ревность к тому, кто раздает себя людям, а не только ей, ей одной...

Художник пишет жизнь, пишет окружающих, ближних своих, лишь через них постигая смысл мироздания. Сангиной, материалом для письма служит ему своя жизнь, единственное свое существование, опыт, поступки — другого материала он не имеет.

*

О детство! Ковш душевной глуби!
О всех лесов абориген.
Корнями вросший в самолюбье,
Мой вдохновитель, мой регент!..

И «Сестра моя — жизнь», и «Девятьсот пятый год» — это прежде всего безоглядная первичность

чувства, исповедь детства, бунт, ощущение мира в первый раз. Как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых, он любил Лермонтова, посвятил ему лучшую свою книгу.

Уместно говорить о стиховом потоке его жизни. В нем, этом стиховом потоке, сказанное однажды не раз повторяется, обретает второе рождение, вновь и вновь аукается детство, сквозь суровые фрески проступают цитаты из его прежних стихов.

Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепе цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Сравните это с живописным кружащимся ритмом его «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой», этих задыхающихся хороводов ребячьей поры:

Великолепие выше сил
Туши и сепии и белил...
Финики, книги, игры, нуга.
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.

Помню встречу Нового года у него на Лаврушинском. Пастернак сиял среди гостей. Он был и елкой и ребенком одновременно. Хвойным треугольником сдвигались брови Нейгауза. Старший сын Женя, еще храня офицерскую стройность, выходил, как из зеркала, из стенного портрета кисти его матери, художницы Е. Пастернак.

Квартира имела выход на крышу, к звездам. Опасаться можно было всякого: кинжал на стене предназначался не только для украшения, но и для самозащиты.

Стихи сохраняли вещное и вещее головокружительное таинство празднества, скрябинский прелюдный фейерверк.

Лампы задули, сдвинули стулья...
Масок и ряженных движется улей...
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей...
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя...

Дней рождения своих он не признавал. Считал их датами траура. Запрещал поздравлять. Я исхитрялся приносить ему цветы накануне или днем позже — 9-го или 11-го, не нарушая буквы запрета. Хотел хоть чем-то утешить его.

Я приносил ему белые и алые цикламены, а иногда лиловые столбцы гиацинтов. Они дрожали, как резные — в крестиках — бокалы лилового хрустала. В институте меня хватало на живой куст сирени в горшке. Как счастлив был, как сиял Пастернак, раздев бумагу, увидев стройный куст в белых гроздьях. Он обожал сирень и прощал мне ежегодную хитрость.

И наконец, каков был ужас моих родителей, когда я, обезьяня, отказался от своего дня рождения и подарков, спокойно заявив, что считаю этот день траурным и что жизнь не сложилась.

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары...

Наивно, когда пытаются заслонить поздней манерой Пастернака вещи его раннего и зрелого периода. Наивно, когда, восхищаясь просветленным Заболоцким, зачеркивают «Столбцы». Но без них невозможен аметистовый звон его «Можжевельного куста». Одно прорастает из другого. Без стогов «Степи» мы не имели бы стогов «Рождественской звезды».

Не раз в стихах той поры он обращается к образу смоковницы. На память приходит пастернаковский набросок, посвященный Лили Харазовой, погибшей в 20-е годы от тифа. Он есть в архиве грузинского критика Г. Маргвелашвили.

«Под посредственностью обычно понимают людей рядовых и обыкновенных. Между тем обыкновенность есть живое качество, идущее изнутри и во многом, как это ни странно, отдаленно подобное дарованию. Всего обыкновеннее люди гениальные... И еще обыкновеннее, захватывающе обыкновенна — природа. Необыкновенна только посредственность, то есть та категория людей, которую составляет так называемый „интересный человек“. С древнейших времен он гнушался делом и паразитировал на гениальности, понимая ее как какую-то лестную исключительность, между тем как гениальность есть предельная и порывистая, воодушевленная собственной бесконечностью правильность».

Позже он повторил это в своей речи на пленуме Правления СП в Минске в 1936 году.

Вы слышите? «Как захватывающе обыкновенна — природа». Как обыкновенен он был в своей жизни, как истинно соловьино интеллигентен в противовес пустоцветности, нетворческому купеческому выламыванию — скромно одетый, скромно живший, незаметно, как соловей.

Люди пошлые не понимают жизни и поступков поэта, истолковывая их в низкоземном, чаще своекорыстном значении. Они подставляют понятные им категории — желание стать известнее, нажиться, насолить собрату. Между тем как единственное, о чем печалится и молит судьбу поэт, это не потерять способности писать, то есть чувствовать, спо-

способности слиться с музыкой мироздания. Этим никто не может наградить, никто не может лишить этого.

Она, эта способность, нужна поэту не как источник успеха или благополучия и не как вождение пером по бумаге, а как единственная связь его с мирозданием, мировым духом — как выразились бы раньше, единственный сигнал туда и оттуда, объективный знак того, что его жизнь, ее земной отрезок, идет правильно.

В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!

Путь не всегда понятен самому поэту. Он прислушивается к высшим позывным, которые, как летчику, диктуют ему маршрут. Я не пытаюсь ничего истолковывать в его пути: просто пишу, что видел, как читалось написанное им.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды...

Тпр-р! Ну, вот и запруда. Приехали. И берег пруда. И ели сваленной бревно. Это все биография его чудотворства.

А о гнездах грачей у него можно диссертацию писать. Это мета мастера. «Где как обугленные груши на ветках тысячи грачей» — это «Начальная пора». А гениальная графика военных лет:

И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.

И вот сейчас любимые грачи его с подмосковных раки, вспорхнув, перелетели в черно-коричневые кроны классического пейзажа. И свили свои перedelкинские гнезда там.

*

Ставил ли он мне голос?

Он просто говорил, что ему нравилось и почему. Так, например, он долго пояснял мне смысл строки: «Вас за плечи держали ручищи эполетов». Помимо точности образа он хотел от стихов дыхания, напряжения времени, сверхзадачи, того, что он называл «сила». Долгое время никто из современников не существовал для меня. Смешны были градации между ними. Он — и все остальные.

Сам же он читал Заболоцкого. Будучи членом Правления СП, он спас в свое время от разноса «Страну Муравию». Твардовского он считал крупнейшим поэтом, чем отучил меня от школьного нигилизма.

Трудно было не попасть в его силовое поле.

Однажды после студенческих военных летних лагерей я принес ему тетрадь новых стихов. Тогда он готовил свое «Избранное». Он переделывал стихи, ополчался против ранней своей раскованной манеры, отбирал лишь то, что ему теперь было близко.

Про мои стихи он сказал: «Здесь есть раскованность и образность, но они по эту сторону грани, если бы они были моими, я бы включил их в свой сборник».

Я просиял.

Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой — решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли «Гойя» и другие, уже мои. «Гойю» много ругали, было несколько разносных статей. Самым мягким ярлыком был «формализм».

Для меня же «Гойя» звучало — «война».

*

В эвакуации мы жили за Уралом.

Хозяин дома, который пустил нас, Константин Харитонович, машинист на пенсии, сухонький, шу-

стрый, застенчивый, когда выпьет, некогда увез у своего брата жену, необъятную сибирячку Анну Ивановну. Поэтому они и жили в глуши, так и не расписавшись, опасаясь грозного мстителя.

Жилось нам туго. Все, что привезли, сменяли на продукты. Отец был в ленинградской блокаде. Говорили, что он ранен. Мать, приходя с работы, плакала. И вдруг отец возвращается — худющий, небритый, в черной гимнастерке и с брезентовым рюкзаком.

Хозяин, торжественный и смущенный более обычного, поднес на подносе два стаканчика с водкой и два ломтика черного хлеба с белыми квадратиками нарезанного сала — «со спасеньицем». Отец хлопнул водку, обтер губы тыльной стороной ладони, поблагодарствовал, а сало отдал нам.

Потом мы пошли смотреть, что в рюкзаке. Там была тускло-желтая банка американской тушенки и книга художника под названием «Гойя».

Я ничего об этом художнике не знал. Но в книге расстреливали партизан, мотались тела повешенных, корчилась война. Об этом же ежедневно говорил на кухне черный бумажный репродуктор. Отец с этой книгой летел через линию фронта. Все это связалось в одно страшное имя — Гойя.

Гойя — так гудели эвакуационные поезда великого переселения народа. Гойя — так стонали сирены и бомбы перед нашим отъездом из Москвы, Гойя — так выли волки за деревней, Гойя — так причитала соседка, получив похоронку, Гойя...

Эта музыка памяти записалась в стихи, первые мои стихи.

*

Из-за перелома ноги Пастернак не участвовал в войнах. Но добровольно ездил на фронт, был потрясен

народной стихией тех лет. Хотел написать пьесу о Зое Космодемьянской, о школьнице, о войне.

И так как с малых детских лет
Я ранен женской долей...

Отношение к женщине у него было и мужским и юношеским одновременно. Такое же отношение у него было к Грузии.

Он собирал материал для романа о Грузии с героиней Ниной, периода первых христиан, когда поклонение богу Луны органически переходило в обряды новой культуры.

Как чувственны и природны грузинские обряды! По преданию, святая Нина, чтобы изготовить первый крест, сложила крест-накрест две виноградные лозы и перевязала их своими длинными срезанными волосами.

В нем самом пантеистическая культура ранней поры переходила в строгую духовность поздней культуры. Как и в жизни, эти две культуры соседствовали в нем.

Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.

Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.

*

Вот он говорит 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз

прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» — все вещи этого цикла.

— Вы долго ждете? — я ехал из другого района — такси не было — вот «пикапчик» подвез — расскажу о себе — вы знаете я в Переделкине рано — весна ранняя бурная странная — деревья еще не имеют листьев а уже расцвели — соловьи начали — это кажется банально — но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать — и вот несколько набросков — правда это еще слишком сухо — как карандашом твердым — но потом надо переписать заново — и Гёте — было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных — идет идет кровь потом деревенеет — закупорка — кх-кх — и оборвется — таких мест восемь в «Фаусте» — и вдруг летом все открылось — единым потоком — как раньше когда «Сестра моя — жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» — ночью вставал — ощущение силы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать — пошли стихи — правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта — а другие говорят это как лекарство — ну вы не волнуйтесь — я вам почитаю — слушайте —

А вот телефонный разговор через неделю:

— Мне мысль пришла — может быть в переводе Пастернак лучше звучит — второстепенное уничтожается переводом — «Сестра моя — жизнь» первый крик — вдруг как будто сорвало крышу — заговорили камни — вещи приобрели символичность — тогда не все понимали сущность этих стихов — теперь вещи называются своими именами — так вот о переводах — раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика — переводы не удавались — они были плохие — в переводах не нужна сила форм — легкость нужна — чтобы донести смысл — содержание — почему слабым считался перевод Холодковско-го — потому что привыкли что этой формой писались

плохие и переводные и оригинальные вещи — мой перевод естественный — как прекрасно издан «Фауст» — обычно книги кричат — я клей! — я бумага! — я нитка! — а здесь все идеально — прекрасные иллюстрации Гончарова — вам ее подарю — надпись уже готова — как ваш проект? — пришло письмо от Завадского — хочет «Фауста» ставить —

— Теперь честно скажите — «Разлука» хуже других? — нет? — я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо — ну да в «Спекторском» то же самое — ведь революция та же была — вот тут Стасик — он приехал с женой — у него бессонница и что-то с желудком — а «Сказка» вам не напоминает чуковского крокодила?

— Хочу написать стихи о русских провинциальных городах — типа навязчивого мотива «города» и «баллад» — свет из окна на снег — встают и так далее — рифмы такие де ла рю — октябрю — получится очень хорошо — сейчас много пишу — вчерне все — потом буду отделять — так как в самые времена подъема — поддразнивая себя прелестью отделанных кусков —

Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.

*

Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.

Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:

И как сплавляют по реке плоты...
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты.

Он исправил: «...неустанно столетья поплывут из темноты...»

Я просил его оставить первоизданное. Видно, он и сам был склонен к этому, — он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.

Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихах он привнес черты городского пейзажа.

Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой...
Сваха павой проплыла,
Поводя боками...

На другой день он позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась — свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шоферами». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите — старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: „Пересекши глубь двора...“»

Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню, у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь

тоже только миг... только сон...» Теперь это кажется невероятным.

*

В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.

Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.

Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, — Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гёте изучал труды по каббалистике, алхимии и черной магии.

Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.

Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал...
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
А прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.

Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?..

Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.

По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель — или как его там? — «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».

Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра...

Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.

И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.

Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил, и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он — Фауст, когда — фантаст»...

Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди
И вереницей непрерывной
Теснились песни на груди, —

недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.

Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.

«Вот и все», — очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.

*

В Веймаре, на родине Гёте, находящийся на возвышенности крупный объем гётевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной своей точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу — большого к малому.

Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой колибри...

Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.

Через несколько лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал

вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху. Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преимственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, — большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас — Ваш Б. Пастернак».

Ровно десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.

*

Последние годы он много болел.

Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать...»

Он написал мне из Боткинской: «Я — в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству... Так все это мне близко...»

Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радость которых не мешала мне чувствовать мои мучения...»

Какой стыд охватил тогда меня за свое здоровое сердце, руки, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас

невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..

Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам...

Я знал его в течение четырнадцати лет.

Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.

*

В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской — охрой, сепией, белилами, сангиной, — его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху
Мастерская отца...

Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресению», именно Катюшу и Нехлюдова — ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя — жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи перекраивает — жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.

Мне четырнадцать лет...

Где столетняя пыль на Диане
и холсты...

В классах яблоку негде упасть...

Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя околотитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца»...

Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.

Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпадало с его ощущением от открытия шукинского собрания, когда он учился. Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду в его мастерской и что напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..

«Как ваш проект?» — записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.

Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.

Окликаая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова

о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клетот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд
И волны. И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.

Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодец, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось — «Правила хорошего тона».

Много лет спустя директор игорного дома «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, покажет мне тетрадь стихов, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.

Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листьями лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый...

Вышедший недавно томик Северянина не особенно удачен. В нем смикширована как вызывающая безвкусица, так и яркий характер, лиризм поэта, музыкально отозвавшийся даже в ранних Маяковском и Пастернаке, не говоря уж о Багрицком и Сельвинском.

Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.

В одном из своих прежних стихов он сменил «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, — все знают, казалось, — все могут
Кричавших кругом лебедей жожаки.
И было темно, и это был пруд
И волны; и птиц из семьи горделивой,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.

Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?

Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» — то есть «весь Ренуар», — к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.

Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака — «с самим собой, самим собой».

Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех:

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках...

Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брежете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:

Это — слезы в стручках и лопатках...

Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи — значение темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно». Невозвратно жаль ушедших строк, как, может быть, глупо, но жаль некоторых исчезнувших староарбатских переулков.

Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.

Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков, замоскворецких, чистопрудных проходных дворов, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить — «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».

В московские особняки
Врывается весна нахрапом...

Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампира уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все — подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.

В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее постоянством геометра, классицизмом, — московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.

Мэтром его был Андрей Белый — москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло...

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.

*

Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, —

так вот, он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была талая слабость снега, предвкушение перемен.

Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья...

Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.

«Надо терять, — он говорил. — Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо...» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? — изумился он. — Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».

Мы шли проходными дворами.

У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.

О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» — я бы ответил: «Двор и Пастернак».

4-й Щиповский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральные жосточки, майских жуков — тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.

Двор был котлом, клубом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку ки-

пятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Супермен, он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.

Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.

Где вы теперь, кумиры нашего двора — Фикса, Вольдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы...

Иногда сквозь двор проходил Андрей Тарковский, мой товарищ по классу. Мы знали, что он сын писателя, но не знали, что сын замечательного поэта и сын будущего отца знаменитого режиссера. Семья их бедствовала. Он где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стилига в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней.

Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка отпустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.

Игра называлась «жосточка».

Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик — как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора

ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.

О, незабвенные жосточки — трюфели военной поры!..

Шиком старших были золотые коронки — «фиксы», которые ставились на здоровые зубы, а то и зашитые под кожу жемчужины. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.

Приводы в милицию за езду на подножках были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший друг Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака.

Пастернак внимал моим сообщениям об эпопеях двора с восхищенным лицом сообщника. Он был жаден до жизни в любых ее проявлениях.

Сейчас понятие двора изменилось. Исчезло понятие общности, соседи не знают друг друга по именам даже. Недавно, наехав, я не узнал Щипковского. Наши святыни — забор и помойка — исчезли. На скамейке гитарная группа подбирала что-то. Уж не «Свечу» ли, что горела на столе?..

Так же благодаря изящной мелодии впорхнуло в быт страны цветаевское: «Мне нравится, что вы больны не мной».

*

Когда-то говоря в журнале «Иностранная литература» о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его «Гамлета» (так впервые было напечатано это стихотворение). Не то маши-

нистка ошиблась, не то наборщик, не то «Аве, Оза» повлияло, но в результате опечатки «авва отче» предстало с латинским акцентом как «аве, отче». С запозданием восстанавливаю правильность текста:

Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси...

Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении:

Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил Отца.

Недавно тбилисский Музей Дружбы народов приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант «Гамлета», заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах «Гамлета» уже угадывается гул, предчувствие судьбы.

Вот я весь. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку.
Я ловлю в далеком отголоске
То, что будет на моем веку.
Это шум вдали идущих действий.
Я играю в них во всех пяти.
Я один. Все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками.

В часы стихов и раздумий, одетый, как местный мастеровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег.

При его приближении вытягивались и замирали золотые клены возле афиногеновской дачи. Их в свое время привезла саженцами из-за океана и посадила вдоль аллеи Дженни Афиногенова, как говорили, урожденная сан-францисская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка.

Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашенная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте «Патриарх» и «Пастернак», приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя.

...Все яблоки, все золотые шары...

...Все злей и свирепей дул ветер из степи...

*

Хоронили его 2 июня.

Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер.

Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межировский «Москвич», на котором мы приехали.

Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то.

Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги.

Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа — приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию.

Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине.

На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом...

*

Помню, я ждал его на другой стороне переделкин-ского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время.

Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи.

Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темно-синий про-резиненный плащ. Под плащом были палевые митка-левые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганый мостик.

Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно.

Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга.

Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель.

Пойдем песни, которые он оставил нам.

1980

СОДЕРЖАНИЕ

<i>З. Б. Богуславская.</i> Предисловие	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

Парабола

Гойя	15
Пожар в архитектурном институте	16
Осень в Сигулде	18
Параболическая баллада	21
Бьют женщину	23
На плотях	25
Тайгой	27
Вечер на стройке	29
Осень	30
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	32
«Суздальская Богоматерь...»	34
Первый лед	35
«Сидишь беременная, бледная...»	36
Флорентийские факелы	37

Треугольная груша

Гитара	39
Тишины!	41

Антимиры

«Я сослан в себя...»	43
Охота на зайца	44
Монолог Мерлин Монро	48
Замерли	52
«Я — семья...»	54
«Шарф мой, Париж мой...»	55

Ахиллесово сердце

«Матери сиротеют...»	57
«Умирайте вовремя...»	58
Киж-озеро	59
Снег в октябре	62

Тень звука

«Нам, как аппендицит...»	64
Роша	67
«В воротничке я...»	69
Вальс при свечах	71

Не отрекусь

Уроки польского	73
«Кто мы — фишки или великие?..»	75
«Дали девочке икру...»	77
«Нет у поэтов отчества...»	78
«В мире друзей, в мире транспорта долгого...»	79

Из поэмы «Оза»

«Аве, Оза. Ночь или жилье...»	80
«Выйду ли к парку, в море ль плыву...»	82
Молитва. («Матерь Владимирская, единственная...»)	83
«Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа...»	84

Взгляд

Песня акына	86
Реквием оптимистический	88
«Ты молилась ли на ночь, береза?..»	91
Женщина в августе	92

Выпусти птицу

Заповедь	93
Сон	95
Правила поведения за столом	96

Дубовый лист виолончельный

«Стихи не пишутся — случаются...»	97
«Приснись! Припомни, бога ради...»	98
Васильки Шагала	99

Соловей-зимовщик	102
Муравей	104
Витражных дел мастер	
Ностальгия по настоящему	106
Звезда	108
Не забудь	110
Песчаный человечек	112
Вольноотпущенник времени	
«Не исчезай на тысячу лет...»	113
Анафема	115
Молчаливый звон	
Свеча	117
Яблоки с бритвами	118
Старый Новый год	119
Соблазн	
Сага	121
Испанская песня графа Резанова	
Из оперы «„Юнона“ и „Авось“»	123
Лесная малица	124
Звезда над Михайловским	125
Фары дальнего света	126
Человек породы сенбернар	
«Успеть бы свой выполнить жребий...»	127
Человек породы сенбернар	129
Ее повесть	131
Беседа в Риме	133
Зал Чайковского	135
Малый зал	
Мать. («Я отменил материнские похороны...»)	137
Вестница	140
Деревянный зал	142
Сестра	145
Пропорции	148
«Вижу как сон — ты стоишь в полукруге...»	150

Рок	152
«Просто — наше шоссе и шиповник...»	153
Рябина в Париже	154
Редкие кражи	155
Синий журнал	157
«Тихо-тихо. Слышно точно...»	159
«Прошло много ли мало...»	160
Штиль	162
Безотчетное	
Речь	163
Безотчетное	166
Недописанная красавица	168
Свет друга	170
Баллада	172
Рама	
«Когда звоню из городов далеких...»	174
«Я шел асфальтом. Серый день...»	175
Чувствую — стало быть, существую	
Ода одежде	176
Никогда (<i>на мотив В. Смита</i>)	177
«Когда ты забираешь наверх под кепку...»	178
«Зашторены закаты...»	179
Я пел хоралы и хиты	
Романс из оперы «„Юнона“ и „Авось“»	181
Песня на «бис»	183
Ресторан	184
Регтайм	186
Небесный человек	188
Человек-магнитофон	189
Миллион роз	190
Не отрекусь!	
«Не понимать стихи — не грех...»	192
Над омутом	193
Верба	194

«В больничном саду воскресник...»	195
«Вызывайте ненависть на себя почаще...»	196
«Я обожаю воздух сосновый!..»	197
«Две школы — женская, мужская...»	198

Орлы и орды

Сладострастие	199
Распусти волосы	201
Платите женщине	203
Лесной регтайм	205
Цикламена	207
«Я тебя очень... Мы фразу не кончим...»	208

Мы любовники, море

Русский эрос	209
«Ресторан качается, точно пароход...»	210

Перископы

Нирвана	212
Школьница	215
Улет	216
«Мотыльковый твой возраст...»	218

В дни неслышанно болевые

Молитва (<i>Из поэмы «Кара Карфагена»</i>)	219
Гарь	220
«Я последний поэт России...»	221

Ямбы и блямбы

Боль	222
Жизнь	225
Дом с ручкой	226
«Мы уплывали вместе, обняв мой крест...»	228

МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ. Рифмы прозы	229
--	-----

Вознесенский А.

В 64 «Ты меня никогда не забудешь...» : стихотворения / Андрей Вознесенский. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. — 288 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-06777-6

В настоящий сборник вошли избранные стихотворения классика современной русской поэзии Андрея Вознесенского, от знаменитой лирики 60-х до очень личных, судьбоносных стихотворений последних лет, а также «рифмы прозы» — воспоминания поэта о встречах с Борисом Пастернаком. Не раз испытает читатель и радость узнавания всенародно любимых золотых шлягеров, созданных на стихи Вознесенского, самый знаменитый из которых — «Миллион роз» («Миллион алых роз»).

«Его считали поэтом 60, 70, 80-х годов, а он стал самым ярким лириком 90-х, и сегодня уже ясно — самым крупным русским поэтом начала XXI века» (К. Кедров).

Сборник предваряет эссе верной спутницы поэта, его легендарной музы и «Озы», писательницы Зои Богуславской.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-5

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
«ТЫ МЕНЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕШЬ...

Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Алексея Положенцева
Корректоры Станислава Кучепатова, Нина Тюрина
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 28.01.2016.
Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Тираж 2000 экз. Усл. печ. л. 12,69.
Заказ № 6243/16.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YVAK1475603R

Дэвид Николс

МЫ

ДЖОДЖО МОЙЕС РЕКОМЕНДУЕТ!

От автора супербестселлера «Один день», переведенного на 40 языков и проданного общим тиражом более 5 миллионов экземпляров.



Как должен поступить мужчина средних лет, с хорошим чувством юмора, счастливо женатый почти двадцать пять лет, когда его жена среди ночи неожиданно заявляет, что покидает его, чтобы вновь обрести себя и почувствовать вкус к жизни?

Дуглас решает бороться за свой брак. Вместе с женой Конни и семнадцатилетним сыном он планирует совершить большое турне по европейским городам. Они собираются провести последнее лето всей семьей, перед тем как сын покинет дом ради учебы в колледже. Дуглас всей душой рвется в это путешествие, надеясь пробудить былую страсть жены. И вот билеты куплены, номера в отелях забронированы...

Казалось, ничто не может сорвать планы...

Впервые на русском языке!

И

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят
известнейшие российские издательства: «Азбука»,
«Махаон», «Иностранка», «КоЛибри».

Наши книги — это русская и зарубежная классика,
современная отечественная и переводная
художественная литература, детективы, фэнтези,
фантастика, pop-fiction, художественные
и развивающие книги
для детей, иллюстрированные энциклопедии
по всем отраслям знаний,
историко-биографические издания.
Узнать подробнее о наших сериях
и новинках вы можете на сайте
Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки
из новых книг, узнать о различных мероприятиях
и акциях, а также заказать наши книги через
интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01.

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества
размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors

В настоящий сборник вошли избранные стихотворения классика современной русской поэзии Андрея Вознесенского — от знаменитой лирики 60-х и всенародно любимых текстов, положенных на музыку и превратившихся в золотые шлягеры, до очень личных, судьбоносных стихотворений последних лет.

«Я не сомневаюсь, что поэзия Вознесенского первая прорвется к читателю XXI века... Не к будущему, а к настоящему обращено каждое его слово. „Ностальгия по настоящему“ — открытие Вознесенского. Никто никогда не будет так любить сегодняшнего читателя, как любит он».

Константин Кедров

«Он полон новаторства, творческого огня и юмора... Первоклассный мастер, который имеет героическую самоотверженность быть самим собой».

Роберт Лоуэлл

И что-то в нем, хвалили или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Белла Ахмадулина



В оформлении обложки
использован фотопортрет
А. Вознесенского

www.azbooka.ru

ISBN 978-5-389-06777-6

03



9 785389 067776